

18+

Юрий Теплов



НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ

роман

Юрий Теплов

Неисповедимы пути. Роман

«Издательские решения»

Теплов Ю. Д.

Неисповедимы пути. Роман / Ю. Д. Теплов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-510267-6

В романе Ю. Теплова «Неисповедимы пути...» рассказывается о военных железнодорожниках, строивших БАМ. Им отвели самый сложный восточный участок, расположенный в основном на вечной мерзлоте. Автор был среди них с первых костров. Его герои и события, описываемые в романе, взяты из жизни.

ISBN 978-5-00-510267-6

© Теплов Ю. Д.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая. Зигзаги судеб человеческих	6
Иван Сверяба и поп – расстрига	6
Лейтенант Давлетов и комбат Прокопчук	19
Лёва Присыпкин по кличке Арбуз	24
Свадебный обруч	33
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Неисповедимы пути

Роман

Юрий Теплов

© Юрий Теплов, 2020

ISBN 978-5-0051-0267-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Зигзаги судеб человеческих

Иван Сверяба и поп – расстрига

1.

Дверь лязгнула, как выстрелила, оставив Ивана в провонявшей потом и мочой камере. Запах мочи исходил от стоявшего в углу бака. С потолка желто светила лампочка, забранная в сетчатый металлический намордник. Левая стена гляделась серой и голой. Вверху синело низкое, словно бойница, оконце, тоже оплетенное металлическими прутьями. Справа были двухъярусные нары, на которых лежали, сидели, курили уголовнички и разглядывали его, застывшего у двери в мятом костюме и в мерлушковой шапке.

– Арбуз! – услышал Иван чей-то сиплый бас сверху.

Со второго яруса скатился парень, низенький, кругленький, с серой челкой. Приблизился к Ивану, обошел вокруг, нежданно толкнул его в спину, отчего он очутился посреди камеры.

– Штымп с брехаловки, – доложил Арбуз.

Слова были знакомы Ивану! Штымп – неук в воровских делах, брехаловка – базар. Только успел это сообразить, как оказался на цементном полу, а его шапка – на голове обидчика.

Иван вскочил на ноги, не видя больше ни нар, ни любопытствующих лиц – только его, круглого и щекастого. Первый его удар пришелся как раз в левую скулу. Шапка свалилась с головы Арбуза, а сам он отлетел к параше. Иван достал его и там. Молотил кулаками по чему попадя. Тот падал, но опять кидался на Ивана. Коротковаты были руки у Арбуза, впустую махал.

– Папа! – завопил Арбуз.

Кто-то навалился на Ивана сзади, но он, то ли стряхнул Арбузову подмогу, то ли помощники сами захотели досмотреть спектакль... Сцапал за голову обидчика и возил его мордой по шербатому цементу. И тут на него посыпалось – в бок, в голову, в спину, уложили рядом с Арбузом. Придавленный чьими-то руками, он успел подгрести под себя свою новую мерлушковую шапку. Голова его оказалась напротив Арбузовой, даже глазами на секунду столкнулись: и Иван успел подсмотреть в них растерянность.

Потом его отпустили. Иван настороженно поднялся, держа в руках шапку. Первое, что увидел – овчинные чувяки на чьих-то волосатых ногах, свесившихся с верхних нар. На втором этаже сидел грузный мужик в распахнутом бухарском халате, с головой яйцом и глазами, похожими на белые кальсонные пуговицы.

Мужик поманил Ивана. Он сдвинулся в его сторону. Убрал шапку за спину. И встал в ожидании приговора.

– Кто будешь?

– Иван Сверяба.

– Кликуха – Сверяба?

– Не, фамилия.

– Шамать хочешь?

Иван не ел целый день, но внятно произнес в ответ:

– Не хочу.

– Подай крышу!

Иван не понял.

– Шапку подай папе Каряге! – выкрикнул Арбуз.

Если бы у Ивана вознамерились отнять шапку, он бы снова кинулся в драку. А тут протянул ее, ровно бы так и надо, будто на сохранение отдал. Откуда в руке Каряги появился сухарь, Иван не заметил.

– На! – сказал тот и резко кинул сухарь прямо в лицо.

Иван изловчился поймать его. Этим вроде бы даже вызвал одобрительную усмешку.

– Писануть, папа? – Арбуз уже поднялся с пола, стоял в метре от Ивана.

Толкучка обучила Ивана многому. Он знал, что такое писануть – чиркнуть лезвием. Отодвинулся к стене, прижался к ней спиной, заозирался.

– Что красноперых не кличешь? – незло спросил Каряга.

Иван затравленно и с ненавистью уставился в его белоглазый лик. Тот убрал ноги на нары, побряхтел, располагаясь в глубине. Сказал:

– Господи, спаси и помилуй некрещеного! – Высунулся наружу: – Его ложе под Афишей. – И улегся с миром...

Место Ивану досталось у самой двери, внизу. Он долго не мог уснуть, прислушивался к шорохам и храпу, не надеясь, что его оставили в покое. Так и блазнилось, что подкрадывается Арбуз с лезвием. Иван напрягался; приподняв голову, шарил глазами по камере, но все было тихо. Потом он провалился в беспокойный сон. А очнулся от влаги. Брызгало сверху.

Он сполз с нар и никак не мог врубиться со сна, что бы это значило. Лампочка горела все так же желто, и камера казалась загробным приютом для грешников.

– Ссытся Афиша, – услышал Иван сиплый голос. – Открытым держит притвор.

Каряга, как и вечером, сидел на верхних нарах, свесив ноги.

Иван не понял сперва, а уразумев смысл, брезгливо глянул на своего недвижимого верхнего соседа. Снял пиджак, расстелил в сухом уголке. Сел на единственный, намертво прикрученный к стене табурет. Чувствовал, что Каряга неотрывно глядит на него, отчего хотелось поерзать. Казалось, тот вот-вот учинит Ивану допрос или подымет уголовников, чтобы попрессовать строптивного первоходка. Но пахан молчал. Затем подтянул свои волосатые ноги в овчинных чувяках и, кряхтя, стал укладываться.

2.

Сколько помнил себя Иван, они всегда жили вдвоем с матерью. Только фамилия у него тогда была не Сверяба, а Панихин. В войну они жили в деревне. Мать работала учительницей в единственной на четыре деревни начальной школе. Колхоз выделил ей пять соток на склоне лесистого оврага – под картошку. С тем огородом и связаны были у Ивана первые, засевающие в память впечатления.

С самого ранья весь воскресный день мать копала картошку, ссыпала ее в рогожные кули. И он телепался среди кулей и картофельной ботвы. После полудня развели костерок; и вот та, испеченная в золе, посыпанная крупной солью картошка и еще прибереженный матерью хлебный ломоть – под горько-сладкий дым костра, перебивший запахи ближнего леса, сена, уложенного в копны, и всего уходящего лета – все это осталось в памяти, как кусочек счастья.

После богатой трапезы у костерка мать сказала:

– Ты, Ванятка, уже большой, придется тебе покараулить картошку. Мне еще три двора подписать на заем надо.

Мать ушла по слезному заемному делу. Сначала Ваньке даже весело было от одиночного простора, когда и жуки, и бабочки, и трава, и затухающий костерок – все принадлежало ему. Заигравшись, он незаметно для себя заснул на пустых кулях. А когда от зябкости проснулся, уже смеркалось, и лес придвинулся вплотную. Небо серело и опускалось прямо Ваньке на голову. Ему на ум пришли волки. О них немало ходило всяких рассказней. У волков, слышал он, глаза, как зеленые огни. И они, те зеленые огни, тут же замерцали из недалних

кустов. Он отполз за потухшее кострище и затаился под рогожей, пока не послышался скрип телеги. Материн голос произнес:

– Да я сама бы управилась, Егор Фролович... Господи, куда же Ванятка-то делся... Ваня!..

Он лежал и мстительно не откликнулся, покуда подковылявший дядя Егор не задел его своей березовой ногой.

Дома, забравшись на печку, застланную старой овчиной, он все прислушивался к разговору мамани с дядей Егором. Она уговаривала председателя дать на неделю лошадь, чтобы заготовить на зиму дрова для школы, да и для учителей тоже. Разговор был неинтересный, и он уснул. И снилось ему непонятно что, но радостное и веселое. Вроде бы та же огородная земля с пятнами картофельной ботвы и недалекие зеленые огоньки. Но не волчиные, а совсем другие, источавшие незнакомую музыку.

К тому времени Ванька знал из музыкальных инструментов только балалайку, которая висела в хозяйкиной половине избы, дожидаясь пропавшего без вести ее сына.

Балалайку брала в руки в дни нечастых наездов из райцентра материна подруга Октябрина Селиверстовна. Ванька никак не мог взять в толк ее небабье прозвание: «Упал намоченный», хотя все в деревне ее так и прозывали. Когда она приезжала, хозяйка не знала, как и угождать гостье своей жилички: доставала самовар, пекла из тертой картохи драники, потчевала и уговаривала:

– Арина Семьверстовна, так внучата на мне. Ихний отец-то без вести. Обождать бы с недоимкой-то.

– Не Арина, а Октябрина, – поправляла хозяйку мать.

– Ага, – соглашалась та. – Я и говорю: обождать бы... Сведу корову, куда с детишками денусь?

– Родина требует, – говорила Октябрина. – Для победы надо.

Ванька полностью был на хозяйкиной стороне, ее Мотыка даже в школу не пошла – не в чем. И Октябрину Селиверстовну он тоже понимал, самой ей, уж точно, ничего не надо – для победы старалась. Приезжала она в кирзовых сапогах, а по деревне, сберегая обувь, ходила в лаптях, которые тоже привозила с собой.

– Обязана ты, мать, пойми, – говорила строго. – Хотя бы половину!

– Ой, спасибочки, – молитвенно складывала руки на груди хозяйка.

– Не за что! – обрывала ее Октябрина Селиверстовна. – Из-за твоих малолеток на преступление иду... Все! Неси-ка инструмент.

Балалайку она сперва бережно поглаживала, затем начинала потихоньку наигрывать и напевать: «Прокати нас, Ванюша, на тракторе...»

Про отца знал Иван с материных слов, что погиб тот в первом, самом страшном годе войны. Это знание жило в нем неполных шестнадцать лет, пока не порушилось с появлением в их каморке худого, как жердь, человека. Был неожиданный гость в сером макинтоше и в неприличной для той поры шляпе. И еще его глаза Иван запомнил: усталые и словно бы виноватые. Это случилось уже после того, как они переехали в город Уфу...

Там и услышал он музыку, что звучала в деревенских снах. Это случилось на толкучке, где он вместе с другими пацанами прибирал то, что плохо лежало. Играл старик в синих очках, прижимая к подбородку невиданную раньше Ванькой фигурную балалайку. Звуки проникли в самую Ванькину душу. Ему охота было сесть возле ног старика и плакать. И он подлез к нему, замер, и снова увидел вдалеке березовый колок и затухающий костерок. Но не было перед глазами осеннего огорода с картофельной ботвой – в бескрайность уходило травяное поле, под ветром играли метелки ковыля, и пасся табун пугливых лошадей.

Скрипач почувствовал подле себя пацаненка. Доиграв, нащупал рукой его голову, провел по волосам, спросил:

– Все услышал?

Ванька согласно кивнул

– Чардаш Монти, – сказал тот.

С тех пор редкие музыкальные сны стали осязаемы, хотя мелодии были смутны и незнакомы. Но они обязательно вплетались в услышанный «Чардаш» и сопровождались бубенцами, словно безумного скрипача уносила тройка.

Так и не смог Иван раздобыть себе скрипку – денег не было. Зато выменял вскорости на базарную четвертуху хлеба гитару.

3.

– Аз, буки тебе ведомы?

Иван вздрогнул, открыл глаза и никак не мог сообразить, где находится, пока не увидел Карягу. Тот опять сидел на нарах, свесив вниз голые ноги в чувяках.

Иван наитием уловил, о чем его спрашивают, ответил:

– Ремесленное кончил.

– Арбуз! – негромко окликнул Каряга.

У его плеча тотчас появилась заспанная щекастая морда.

– Брысь! – шевельнул пальцем: слазь, мол.

Арбуз обиженно засопел, помедлил и сполз вниз.

– Занимай плацкарту, Цыганенок! – велел Каряга.

Иван понял, что Арбуз освободил место для него. Мелькнула мысль: каверзу задумали. Но каверзней того, что уже было, вряд ли что могло произойти. Потому он, хоть и с опаской, забрался наверх и притих.

Подушки и тюфяки у всех были набиты соломой. А пахану видать, положена постель мягче: его ватный матрас был в такую же полоску, как и бухарский халат. И подушка отличалась от остальных перовой набивкой.

Каряга вытащил откуда-то истрепанную серую книжку и сунул Ивану:

– Тискай роман! – «роман» он произнес с ударением на первом слоге.

«Турецкоподданный Остап Бендер шел по Дерибасовой на деловое свидание к Марусе Золотой ручке...»

С обаятельным мошенником Остапом Бендером Иван познакомился в ремеслухе. И даже мысленно примерял себя к нему, догадываясь, что не та мерка. Великоват был костюм великого комбинатора для Ивана. Одежка Шуры Балаганова подходила больше, но все же, как представлялось Ивану, была тесновата. Веселых мужиков сотворили Ильф и Петров... Однако в романе, который он «тискал» по велению Каряги, не было никого из знакомых, кроме самого турецкоподданного. Зато появились аристократ и мерзавец Рокомбойль, контрабандист Бенья Аронович и красивая бандитка Маруся Золотая Ручка.

Книга была отпечатана на синеватой бумаге и с кучей грамматических ошибок, бросавшихся в глаза даже Ивану, у которого со школьной грамматикой были не шибко товарищеские отношения. По первости он даже запинаясь, поражался мысленно тому, что встречает их в печатном тексте. По его разумению, все, что напечатано, не должно подлежать сомнению. А тут попадались и обкусанные слова, и матерщина.

События в романе разворачивались завлекательные, с погонями, тайником в трости и яркой ревностью Маруси Золотой Ручки. Иван увлекся, начал соперничать героям, забыв про свое незавидное положение. Даже стал оттенять речь каждого особой интонацией, так, как это ему виделось. Он не заметил, как Каряга, лежавший до того на спине, развернулся к нему, как проснулись двое ближних сокамерников и тоже стали слушать.

Чтение прервала побудка. Иван с омерзением оглядел Афишу – толстомордого, бледного, вялого.

– Бобер, – сказал про него Каряга. – С мертвяков копил.

После переключки и капустной тюри на завтрак заключенных по двое стали выводить из камеры на внутренние работы. Иван тоже собрался. Одного Карягу развод почему-то не касался. Он сидел на нижних нарах в своем халате, безучастно наблюдая людскую суету. Потом сказал выводящему:

– Новенького оставь!

И тот безоговорочно отодвинул Ивана от жаждущих света божьего, будто слово пахана было для него приказом. Отправив эков, вернулся. Отпер ключом похожее на бойницу окно под потолком. Сообщил Каряге:

– Мокроссычке и блиноделу (фальшивомонетчику) – подогрев.

Бренча ключами, охранник удалился. Каряга с кряхтением забрался наверх и вновь повелел Ивану:

– Тискай роман!..

После полудня, когда оконце под потолком было заперто, и камера снова густо заполнилась, счастливых вывели за передачами. Арбуз слонялся по камере. Иван, прислонившись к стене, косился на него, ожидая, что тот полезет на свое законное место рядом с Карягой. Он уже сообразил, что на равных они теперь в камерной иерархии. Видно Арбуз разрешил сомнения в свою пользу, потому что перестал маячить и полез наверх.

Но Каряга остановил его чувяком, кивнул на угол подле двери.

Арбуз нервно сдернул на пол подстилку Афиши, выдернул тюфяк у Баклана и забросил наверх.

Счастливики возвратились под ужин, каждый – с холщевым узелком. Подали узелки Каряге. Арбуз привычно принял их из рук папы, вытряхнул подле него. Тот оглядел содержимое: у Афиши – махорка, две пачки чая, шмат сала и изломанный на куски хлебный каравай; у блинодела – папирсы «Беломор», шесть пачек чая, пиленый сахар россыпью и круг колбасы.

Арбуз вопросительно поглядел на Карягу.

– По справедливости, – буркнул тот.

Но справедливость была относительной. Блиноделу Арбуз выделил кус хлеба, пачку чая и махорки на пяток закуток. Мокроссычке Афише отсыпал только махорки. Другим тоже перепало – что кому. Остальное Арбуз разложил на розовой тряпице и уселся подле нее обочь Каряги. Кроме них, подогреться колбасой и салом изготовились еще двое.

Иван принял от баландера алюминиевую миску с тюрей, но Каряга окликнул его:

– Ползи к котлу, Тискало!..

Странная у Ивана пошла жизнь. Ровно бы навечно отделился он от всего, что было раньше, когда не было ни забот, ни печалей. Была только гитара. Она и завлекла Ивана на самодеятельную сцену, где он пел и аккомпанировал себе. Неплохо, видно, получалось, потому что в ту весну, когда он закончил ремеслуху, попал на смотр художественной самодеятельности.

Оттуда все и зачалось. После концерта за кулисы явился толстый носатик с желтой цепочкой на брюхе и отозвал Ивана в сторону.

– Ты мне подходишь, – сказал.

– Куда это подхожу? – взъерепенился Иван.

– Я – Камалян. Артур Камалян.

Артур Леонович Камалян оказался артистом цирка и директором труппы. Предложил он Ивану стать его учеником. Посулил огромную по Ивановым понятиям зарплату в семьсот рублей.

– Что такое слесарь-токарь? – воскликнул Камалян, – Работяга, каких тысячи. А что такое артист цирка? Тоже работяга, но на него смотрят тысячи слесарей-токарей, а также студенты высших и низших институтов!..

Иван сдался, не выдержав натиска.

– Жду завтра, – сказал он. – Неделю репетируем. Потом гастроли по районам.

На первом представлении Иван вышел на публику и исполнил куплеты кавказского гостя.

*С женой разводиться в суд я пода-вал,
А судья сходиться уговари-вал.
«У нее характер хуже, чем у змей!
Если мне не веришь, сам женись на ней!»*

На балаганном манеже он чувствовал себя свободно, и Артур говорил:

– Ты же божьей милостью артист, Ванечка! Даже клоун!

Может быть, и сделался бы Иван клоуном, если бы не слабость шефа к прекрасной половине человечества. В каждом городке, куда приезжал цирк, у Артура появлялась «Молошница». Он сам окрестил так своих «мадамов». Ещё у него была гастрольная жена акробатка, молодая, может, лет на пять всего и старше Ивана, большеротая, гибкая, как ящерка, и вообще похожая на ящерку. Соблюдая приличия, он говорил своей Ящерке, что поклонники приглашают его «на три бурячка», и с достоинством исчезал на цельную ночь.

Ящерка, похоже, и сама не терялась. Как-то сказала Ивану:

– Ты хоть целовался с кем-нибудь, Вороненок?

– Отвали, – буркнул Иван, а у самого в голове сделалась затируха.

После районного центра Усольска они переехали в ярмарочное село на берегу плотогонной реки. Пассия Артура осталась там, в двадцати километрах от их нового табора. Накануне представления Артур попросил:

– Есть дело личного свойства, Ванечка. Выполнишь мою просьбу?

– Конечно, – не задумываясь, ответил тот.

– Съезди на попутке в Усольск. Передай Татьяне Владимировне, что я не смогу к ней приехать, как обещал. Моя тигра стеречь меня стала...

В том ярмарочном селе был небольшой стекольный заводик. Свою продукцию в районный центр он отправлял обычно под вечер. Тогда путешествующий народ и ловил попутки...

Площадка у церкви, в которой обосновался заводской склад, была в тот вечер пуста. Две бабенки втолковали Ивану, что полторки будут всего две и то не раньше, чем через час: шоферов разогнали по колхозам на уборку урожая.

Иван задержкой не расстроился. Вечер устоялся теплый, непыльный. От близкой реки тянуло свежестью. Он прогулялся до берега. И уже собрался возвратиться на шоссе, как услышал голос Ящерки:

– Вороненок!

Она была в зеленом открытом сарафане. Приблизилась к нему чуть ли не вплотную.

– Будь рыцарем, погуляй с дамой!

– Н-не могу, – ответил с запинкой Иван. – В одно место надо.

– Неужели свидание, Вороненок?

– Н-нет, – опять запнулся он. – По делу.

– Полчаса твое дело подождет, – и пошла по берегу.

Хитрое Иваново дело могло, конечно, подождать и полчаса, и больше, пока машины подойдут и загрузятся. И он бездумно направился за ней.

Река в вечернем августовском солнце играла радужными блестками. По ней медленно полз караван плотов с еле заметным костерком на переднем.

– Ты не цыганских кровей? – спросила Ящерка.

– Нет.

– Значит, кто-то из женщин в твоём роду согрешил с цыганом. А мне вот Цыганенок достался.

У Ивана опять, как уже не раз бывало в её присутствии, заекало в груди, в голову полезли грешные мысли. А Ящерка не останавливалась, хотя полчаса уже минули. Он шел за ней, как привязанный. Избы остались позади, и к берегу подступил редкий дубовый лесок с широкими полянами. Ящерка резко остановилась на тропинке. Иван уткнулся в неё и замер.

– Пришли, – произнесла она шепотом и обхватила Иванову шею.

Не раздумывая больше, он сцапал её своими клешнями. Она только и вымолвила: «Ах», больше ничего не смогла из-за Ивановых губ.

Возвратились они под полуночными звездами. У церкви она торопливо чмокнула его в щеку и убежала к Дому колхозника, где труппа ночлежничала. Иван остался, надеясь на дикий случай, который послал бы ему попутку. Побрел по шоссе в сторону Усоляска. Ночь была светлой, месячной, с падучими звездами. Сразу за селом начались покосы. Иван увидел в светлом сумраке копешку сена, свернул к ней и устроил себе запашистую постель.

Если и мучила его перед Артуром совесть, то не за Ящерку. А за то, что не выполнил его просьбу, не передал тоскующей женщине его прощальный привет. Но успокаивал себя тем, что Артур утешается с местной Молошницей. Иначе, с какой бы стати его Ящерка барахталась с Иваном до глубокой ночи?..

При воспоминании о ней, он вздрагивал, въяве ощущая, как она ползает пальцами по всем его пуговицам и впивается ноготками в его спину. Забыв про Артура, он готов был снова нести Ящерку к дубкам, чтобы услышать её стоны.

Дождавшись поздним утром обратную порожнюю машину, он, не голосуя, догнал её, вцепился в борт, запрыгнул на ходу в кузов. Так же на ходу спрыгнул на подъезде к церкви. И встал истуканом, увидев поблизости Артура. Но встряхнул себя, выгоняя растерянность, и храбро пошел ему навстречу.

– Как боевое задание? – спросил улыбающийся шеф.

– Нормально, – соврал Иван.

– Она хоть покормила тебя?

– Покормила, – ответил. – Пшенной кашей с молоком.

– Фу, какая гадость! – сказал Артур. – А заведует мясопродуктами. Ты о поездке не распространяйся. Моя гидра очень даже просто может влезть в душу.

Ивану показалось, что шеф слишком внимательно поглядел на него. Потому поспешно заверил, что в душу к нему никто не влезет.

– Душа в теле, Ванечка. А оно подвержено слабостям.

Намек на тело тоже, показалось Ивану, был сделан неспроста.

Он заторопился в цирковой балаган, чтобы скорее повидать Ящерку, выспросить, что и как... У входа босоногие мальчишки окружили усатого милиционера. Не обращая на них внимания, Иван хотел пройти вовнутрь. Но милиционер оставил ребятню, окликнул его с вопросительной интонацией;

– Сверябин?

– Сверяба, – ответил Иван, не успев удивиться такому интересу.

– Ты-то мне и нужен, – милиционер взял его под локоть и повел в сторону от балагана. – Важный вопрос к тебе есть: где был этой ночью?

– А какое вам дело?

– Повторяю: где ты был этой ночью?

– Что-нибудь случилось?

– Случилось. Только твоё дело – ответное, а не вопросное.

Ночная нереальная жизнь продолжалась для Ивана. В ней могло произойти все, вплоть до вселенского суда, и чего уж было изумляться появлению на его пути усатого милиционера!

Иван воспринял его, как необъяснимую, но обязательную странность. И уже дернулся было соврать, что ночевал в доме колхозника, но во время спохватился: если уж страж порядка заинтересовался им, то, наверняка, знает, что его кровать ночью пустовала. Он ответил первое, что взбрело на ум:

– Гулял.

– Где гулял?

– По берегу реки.

– И без свидетелей?

– А зачем мне свидетели для гулянья?

Милиционер облизал губы, дунул на кончик уса и сокрушенно вздохнул.

– Сопля ты, Сверябин!.. Говори, куда дел шелк и бархат!

Вот тут Иван и очнулся: сообразил, что его подозревают черт-те в чем.

– Какой шелк! – закричал. – Какой бархат!

– Тот, что в рулонах. Его вчера только завезли.

– Я понятия не имею, кто чего завез!

– Не кричи! Своровали материю нонешней ночью. Из всех циркачей не было на месте одного тебя.

– Но я на самом деле не видал никаких рулонов!

– Можя, и не видал. А посидеть придется, вдруг вспомнишь?..

Вечернее цирковое представление состоялось без Ивана. Он сидел взаперти в амбаре недалеко от брезентового балагана, слышал, как гомонливая толпа расходилась после зрелища. Злился, ждал утра, когда должно было, по его понятиям, что-то проясниться. Бодрствовавший предыдущую ночь, он крепко и без сновидений заснул на пустых мешках. Проснулся, когда его растолкал тот же милиционер.

По улице он вел его, ровно бы приятеля. На крыльце сельсовета сказал:

– Оно, конечно, надо блюсти мужицкую верность. Да не во вред себе. Шагай, дурной!

Твой начальник пришел тебя выручать.

В обшарпанной комнате сельсовета сидел Артур. Увидев Ивана, ободряюще заулыбался:

– А видок терпимый. Вот что значит молодость, товарищ следователь!

– Участковый, – поправил милиционер.

– Для меня разницы нет: представитель власти.

– Рассказывай, конспирант! – приказал Ивану представитель власти.

– Что рассказывать-то? – отозвался Иван. – Не видел я тот шелк.

– Не надо, Ванечка, ничего утаивать, – вмешался Артур. – Я объяснил товарищу следователю, – он ровно бы намеренно опять оговорился, но милиционер пропустил на его оговорку мимо ушей, – признался, что ты уезжал по моей интимной просьбе.

Мысли Ивана заметались. Что сказать? Чем объяснить, что он не поехал в Усольск?.. Черт подкинул ему ту Ящерку с ноготками! И ведь ничего не объяснишь, ничем не оправдаешься.

– Ну, давай, конспирант, – поторопил его милиционер.

– Не был я у Татьяны Владимировны, – глухо ответил Иван.

– Как не был? – вскинулся Артур. – Где же ты был?

Милиционер дунул на ус, сонное выражение сползло с его лица. Артур вскочил со стула, подкатился к Ивану.

– Ты соображаешь, что говоришь? На тебя вешают грабеж! Ты что, действительно, не ездил к Татьяне Владимировне?

Иван молчал.

– Тэк-с, – произнес милиционер. – Рано я алиби этой сопле определил.

– Ванечка, скажи, где ты был! – Артур теребил его за рукав.

Иван обежал взглядом по окнам, оглянулся на дверь.

Милиционер обеспокоено встал, зашел Ивану за спину, отрезая путь к выходу. Перед глазами Ивана мелькнула Ящерка, висел на дубовой ветке ее зеленый сарафан. А лицом к лицу с Иваном стоял ее сезонный муж и требовал:

– Скажи, Ванечка, всю правду!

А правду как раз он и не мог сказать...

Цирк на другой день снялся, оставив его в амбаре. Милиционер сам приносил ему скудную еду и кипяток, заваренный шалфеем. Пока Иван ел, сидел рядом. И задавал один и тот же вопрос:

– Куда дел матерьял, а? Ведь некому больше, кроме тебя!

– Ничего не знаю, – отвечал Иван. – Собаку приведите, пускай ищет.

– Отравили прошлый год овчарку, – вздыхал милиционер. – Дружки твои, верно, и отравили, – и, дунув на ус, уходил.

Через неделю он усадил Ивана рядом с собой на подводу. Вещей у него не было, только шапка из серой мерлушки, купленная в сельпо на первую цирковую получку. Милиционер доставил его на станцию, где сдал другому милиционеру. А тот повез его на поезде в родимый город, который спал спокойно, не ведая о злодейке-судьбе одного, недотянувшего малость до совершеннолетия, своего жителя. И очутился Иван в тюремном здании, известном городу под названием «Вечный зов»...

4.

Если посмотреть со стороны, то цирк был и здесь. Жизнь настолько далеко отодвинулась от привычной, что временами напоминала Ивану затянувшееся представление, в котором участвовали звезды и статисты камерного манежа под бдительным оком сурового режиссера папы Каряги. Этот спектакль разнообразили сходявшие со страниц истрепанной книги ловкие джентльмены удачи. Иван тискал тот удивительный роман каждый божий день: вечерами – всем, а с утра – одному Каряге. По первому кругу Ивану было любопытно, что еще придумал удачливый Остап Бендер, чтобы объегорить фараона Мориарти, и как знойные женщины убажуют хитрого красавца Рокомбойля.

Позже громкая читка пошла по второму и по третьему кругу. Кому интересно мусолить одно и то же? Но Каряге нравилось. Он легче засыпал под человеческий голос. Спал он, могуче разбросавшись, бухарский халат расплзался, и тогда на левой стороне груди можно было прочитать наколку: *«Прииде же окоянный сотона и измаза его калом и тиною и възрями»*.

Иван насмотрелся в базарном детстве разных наколок: от женских имен и головок до шикарных парусников. Понять наколку Каряги было трудно, что-то за ней скрывалось смутное и жуткое. К кому и откуда придет «сотона»? Кого и зачем измажет възрями?..

Однажды с утра, дочитав в очередной раз до оборванного конца, Иван сделал небольшую паузу, после чего, не выпуская из рук книги, начал вслух придумывать продолжение. Поначалу шло туговато, но, чем дальше, тем складнее. Фантазировал и снова, как в первый раз, стал сопереживать и представлять действие в лицах. Не заметил, как Каряга проснулся и глядел на Ивана, прищурился белопуговичные глаза. И когда тот выдохся, хмуро спросил:

– Мамка с отцом живы?

– Мать, – ответил Иван.

– Сам-то по трамваям щипал?

– Нет. Сказали, цирк ограбил.

– Какая ветошь в цирке?

– Шелк да бархат. Я их и близко не видал...

В тот раз Иван и рассказал Каряге, как на духу, обо всем, что с ним приключилось. И про Ящерку не забыл, и про ее Артура.

Каряга со вздохом и внятно произнес:

– Угодил ты, Тискало, в лабиринты Титовраса. Знакомо тебе сие чудище?

– Нет, – ответил он.

– Обитало в мифическом лабиринте и пожирало попавших туда сынов человеческих. Большой нитяной клубок требовался, чтобы найти выход оттуда.

Иван то ли слышал от кого, то ли сам где вычитал про лабиринт у древних греков. Но там страшный его хозяин назывался Минотавром. Может, запомнил папа Каряга? Или другое имя дали на Руси чудищу?..

– Ты еще нитяной клубок найдешь, – продолжал Каряга. – Я же свой утерять давно и безвозвратно. Един мне вердикт: вышка после суда.

Иван даже вздрогнул от спокойного сиплого баса Каряги.

– Может, заменят вышку, – сказал Иван, ощущая в груди озноб.

– Все в руке божьей... Человек – что картошка: либо посадят, либо съедят.

Когда они оставались вдвоем с Карягой, Иван замечал, что тот неуловимо менялся, вроде бы сбрасывал на время твердую непрозрачную кожуру. И оттого становился доступнее и понятнее. Даже речь его менялась, в ней исчезал воровской жаргон, зато появлялись какие-то древние слова, которые Иван раньше встречал разве что в книгах.

– Можно подумать, ты на воле попом работал, – сказал ему Иван.

– Угадал, – ответил Каряга. – Однако было сие в достопамятные времена...

Он был скуп на слова, но, верно, у каждого разумного существа возникает желание приоткрыть краешек души. Шли дни, и Иван узнал, что когда-то носил Каряга сан приходского священника, звался Отцом Владимиром, имел супругу и ждал дите. Но господь прибрал их в одночасье, едва дочь появилась на свет. От горя впал он в великое сомнение, заливал еретические мысли зельем, но так и не сумел залить...

Приоткрылся Каряга и тотчас закрылся, но до конца свою непроницаемую кожуру не натянул.

Покряхтывая, он сполз вниз, подошел к двери, стукнул пару раз по железу, пробасил в круглый глазок:

– Скажи начальнику, исповедаться хочу. Пускай бумаги дадут и самописку!

Наутро Каряге принесли новенькую тетрадку в косую линейку и огрызок карандаша. Он сунул Ивану тетрадку с карандашом и повелел:

– Излагай. Все как было. Про бабенку и ее мужика не лукавь.

К обеду Иван закончил свое не шибко длинное жизнеописание. Каряга прочитал, сложил вдвое и засунул в книжку...

Потом Иван целую неделю ходил вместе со всеми на работу. Пилили на внутреннем дворе сучковатые березовые бревна. Красный кирпичный забор поверху был обнесен колючей проволокой. В углу стояла вышка с часовым. Почти каждый раз из помещения выходил режимщик и, непонятно зачем, разглядывал пыльщиков.

В одно серое утро Каряга сказал выводящему:

– Мальца оставь!..

5.

Стал Каряга заметно разговорчивее, хотя откровения его были скупы и отрывочны. Однако и из них можно было воссоздать весь путь, в конце которого бывший Отец Владимир превратился в папу Карягу. Сам ли он отрекся от сана, влекомый мирскими соблазнами и буйным нравом, низложен ли был – Иван не понял. Расставшись с приходом, отправился буйный поп в Москву, затем в Ростов и в Одессу. Деловой и разухабистый НЭП правил отношениями людей. Бывал Каряга нищ и наг, при деньгах и в парижских шмотках, спознался с одесской малиной.

Однако нет-нет, да и являлся перед его хмельным взором старинный городок с деревянным храмом на возвышении, видимым с любого околичья, а особенно – с паровой реки, на фоне голубых небес и заливных лугов. Он въяве ощущал запах ладана и видел крестьянский лик Богоматери, исполненный по великому вдохновению мучеником Андреем Рублевым. Воистину чудотворна была та икона. Божья мать и младенец будто попали на нее из близкой жизни, чудились фамильными знакомыми. И такая всевидящая укоризна читалась в материнских глазах, что некуда было деться от ее взгляда. Откуда ни посмотрит на нее прихожанин, а Богоматерь, обыкновенная российская баба, глядит прямо ему в очи, ровно бы взывает к совести.

В далеком городе у моря слышался беглому священнику колокольный звон своей церквушки. Отливал те колокола новгородский мастер за большие деньги, собранные по грошику с верующих. Говорливые получились колокола. Их малиновое многоголосье всегда напоминало Отцу Владимиру работающую дружную семью на покосе – у каждого свой голос: у ребяташек, у рожавшей досыта матери, у самого хозяина, что дает басовый сигнал на косьбу и на обеденный роздых.

Допек тот малиновый звон, дозволялся, заставил мерить обратные версты. А лучше бы не дозвывался, не заставлял. Оказалось, то сам вечный изгой Сатана назвонил ему в уши: вернись, полюбуйся на божий дом! Когда бывший Отец Владимир вернулся, уже отпыхал большой костер, зажженный безбожниками. Сгорели в том костре церковные святыни, а среди них и творение мученика Андрея. Погрязший в мирских утехах, сам ставший носителем греха, он воспринял тот узаконенный разбой, как Грех наибольший, которому нет прощения. Не перед Всевышним грех, а перед вечной материнской любовью и перед совестью, что питают святыни. В нем подымалась лютость против тех, кто сгубил творение Гения.

К пасхальному воскресенью, в канун державного праздника, приурочено было открыть в храме клуб воинствующих безбожников. Затеи своей они не скрывали, заранее обнародовали, что скинут колокола, как символ крестьянской темноты и поповского мракобесия. Бывший Отец Владимир поклялся: не дам! Толпа, собравшаяся в тот день у церкви, лишь глухо роптала, шевелилась в гуще своей, но оставалась недвижимой. Да и куда ей было двигаться, ежели сам начальник милиции был тут, стоял в красных галифе, с маузером на боку и держал под уздцы нетерпеливого коня. Старый знакомый юродивый, босой, в одних подштанниках и с веригами на теле, завопил проклятья. Завыли бабы. Двое молодых и решительных скрутили юродивого, отволокли с глаз людских. А двое других открыли замок и по-хозяйски вошли в храм.

Не узнанный никем бывший Отец Владимир скользнул за ними. Людской ропот остался за спиной. В храме было тихо и голо. Там, где висела икона Богоматери, краснел бумажный лозунг: «Религия – опиум для народа». Следом за комсюками он стал подниматься по крепким дубовым ступеням на колокольню. Тот из молодых, что был в кожанке, достал складень, чтобы перерезать пеньку, когда колокол-хозяин зависнет над пустотой.

– Не тревожь хозяина! – угрюмо сказал он. И в сей миг снова ощутил себя служителем храма, опять стал Отцом Владимиром.

Оба недоуменно переглянулись.

– Какого хозяина?

– Не троньте колокола. Они вам не мешают творить безверие.

– А ты что за опиум! – возмутился в кожанке. – Катись отседова, пока по ушам не получил!

– Господи, прости меня грешного! – забывший трехперстие, он истово и в последний раз в жизни перекрестился и шагнул к порушителю. Тот не дрогнул, только чуть попятился, открыл складень, призвал товарища:

– Сенька!

Борьбы не было. Бывший поп легко сграбастал хлипкого безбожника, и, не дав тому взмахнуть ножом, выкинул его в голый оконный проем. Второго, прыгнувшего ему на спину, отряхнул на пол, зарычал на него, ровно раненый медведь. Тот покатился по крутой лесенке.

Спустившись вниз, Отец Владимир оглядел застывшую в ужасе толпу. В могильной тишине по-заячьи вскрикивал Сенька, склонившийся над телом товарища.

– И поиде Господь Бог очи имати от солнца, и оставил Адама единого, лежаща на земле, – провозгласил с паперти Отец Владимир.

Тут его и признали.

– Батюшка! – ахнули, сдвинулись к паперти.

– Прииде же окоянный Сотона ко Адаму и измаза его калом и тиною и възграми!

Начальник милиции отстегнул маузер и, раздвигая толпу, двинулся к нему. И тогда он бросил своей бывшей пастве прощальное:

– Поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертью смерть разруши!..– и почти безо всякого перехода, обратился к приблизившемуся представителю власти: – Вот он – я! Бери последнего священнослужителя!..

Ивана вызвали поздним вечером. Следовательно, с тонкой шеей и длинными руками, спросил фамилию, имя, отчество. Заполнял протокол медленно и очень разборчиво. Протянул Ивану:

– Подпиши.

Иван тут же вознамерился подписать, но тот остановил его:

– Прочитай сначала, обормот.

«Обормот» прозвучало вдруг для Ивана музыкой, разорвало казенную нудность, и он, помимо воли, расплылся в улыбке. И следовательно улыбнулся, голова его при этом склонилась на бок, ровно бы он дал отдых шее.

Иван прочитал. Все было написано правильно. Расписался. Спросил:

– А когда меня судить будут?

– В зону захотел? – в голосе следователя опять прозвучала усмешка.

– Нет. Суд оправдает.

– А на меня не надеешься?

– Нет, – не решился соврать Иван.

– Домой готовься послезавтра. Нашли бархат, а шелк уплыл.

Иван даже растерялся от такой великой неожиданности. Сердце заколотилось так, что, кажется, самому стало слышно. Какие-то слова рвались наружу – «спасибо» или другие похожие, но вдруг напугался до конца поверить и напугался неверием спугнуть ясную надежду. А улыбка так и ползла по лицу; и вовсе не в такт ей, не шибко понимая, о чем говорит, спросил по-деловому:

– Где нашли-то?

– Много знать будешь – такой же, как я, станешь.

– Может, вы меня сейчас отпустите?

– Подождешь. Завтра привезут Камальяна, я и побеседую с ним при тебе.

– Так это Камальян украл материал? – спросил он.

– Он и его сожительница.

Вот это было в самое темечко. Иван мысленно охнул, все его естество запротестовало: нет, нет! Не может быть, чтобы Ящерка – тоже! Или она нарочно заволокла его к тем дубкам? Неужели все ее слова были актерством?..

– Вот что, Иван Сверяба, – сказал следователь. – Слушай безо всякого суда мой приговор: вымыть весь коридор и этот кабинет. Вон в углу ведро и швабра... Да не вздумай сорваться, внизу охрана...

Последние две ночи и день были для Ивана самыми длинными. Из встречи с Камалюном почти ничего не запомнилось, разве что посеревшее лицо циркача и испуганные глаза, когда Иван, не совладав с собой, завопил:

– Ах, ты падла! – и приложился к его породистому носу и раз, и два.

Следователь, уронивший голову на бок, не торопился его остановить. Лишь когда тот оказался зажатым в углу, когда призывно промычал:

– Гражданин начальник!

Только тогда среагировал:

– Отвались, обормот! – и сухо, нудно, не вставая со стула, закончил: – За нетактичное поведение на очной ставке объявляю свидетелю замечание!..

Утром выводящий выкликнул Иванову фамилию и добавил: – С вещами.

– До свидания, – сказал Иван всем и Каряге наособицу.

– погоди, – остановил его бывший поп. – В пиджаке по морозу пойдешь?.. Арбуз! Подай бакланов клифт!

Тот недовольно зыркнул глазами, а послушаться не посмел. Нехотя достал куртку на меху, которую передали с воли баклану, а уж он, само собой, преподнес ее Каряге. Куртка оказалась Ивану почти впору. Каряга вытянул из-под изголовья Иванову мерлушковую шапку и сам напялил ему на голову.

Домой Иван заявился, ровно бы после окончания цирковых гастролей. Понятно, что его ждали. И он ждал встречи с домом. Но жизнь непредсказуема. Через две недели он втихую от матери явился в военкомат и упросил призвать его в армию добровольцем, потому как призыва ему надо было ждать почти год. Маманя поахала, но военкоматская повестка была уже в руках.

И попал он служить в железнодорожные войска.

Лейтенант Давлетов и комбат Прокопчук

1.

В тот год, когда Иван Сверяба начал солдатскую службу в Карелии, лейтенант Халиул Давлетов окончил железнодорожное училище, получил назначение в Забайкалье и прибыл в свой первый офицерский отпуск в деревню Иткуль, прилепившуюся одним боком к озеру, а другим – к уральским холмам. Там ждала его Райхан, а ее и его родители загодя подготовились к свадьбе.

До сельсовета, где им с Райхан предстояло зарегистрироваться, было пешком десять минут. Но председатель колхоза выделил тарантасную пару, помчавшую их кружным путем, берегом озера, мимо развешенных на шестах рыбацких сетей. Звенели бубенцы, ленты полыхали на дугах. Было жарко, но Халиул в тарантасе сидел при золотых погонах, накинув офицерскую плащ-накидку, ровно бурку, и законно обнимал невесту.

Деревня, хоть и носила татарское название, однако уже давно обрусела. Больше половины колхозников были из русских. Свадьба получилась разбродная и веселая. Пожилые люди перепели все песни, и татарские, и русские. Райхан сидела подле жениха, прижималась к нему полным плечом, жарким даже сквозь новое белое платье.

Позже их прилюдно и с прибаутками выпроводили в зерновой амбар на первую брачную ночь, и две матери, задув свечи, оставили молодых вдвоем. Халиул на ощупь путался в каких-то тесемочных узелках на спине юной жены. Узелки никак не хотели развязываться, тогда он дернул посильнее и услышал, как треснула материя. Они упали на перинную постель: губы, груди, ноги – все стало единым и невесомым до звона и кружения в голове. Все для них исчезло: амбарные стены, свадьба, гулеваные голоса гостей. В мире остались только двое – Ева и Адам, и надкусанное яблоко закатилось куда-то в дальний угол. А потом вдруг в бессонную тишину ворвался крик петуха, и они обнаружили, что амбарные потемки растаяли, то народившийся рассвет подглядывал за молодыми сквозь верхние щели...

Через месяц Халиул привез молодую жену в Забайкалье. Издалека оно представлялось ему сплошной зеленой тайгой. А военный городок оказался в голой Маньчжурской степи, да и не городок вовсе, а несколько бараков, обдуваемые со всех сторон пыльными ветрами. И еще красивая будка КПП с новеньким шлагбаумом. Зачем шлагбаум, когда нигде не было никакого ограждения? Эта мысль мелькнула в голове Халиула, когда он усадил в тенечке Райхан, а сам отправился к начальству.

Комбат майор Прокопчук при португее и в бутылочно-зеркальных сапогах, стоял посреди кабинета, будто ждал гостей. Поглядел на переминавшегося у двери лейтенанта Давлетова с прищуром, и тому показалось, что в глазах начальника запрыгали зеленые бесенята.

– Почему сапоги не почистил?

– Не успел с дороги.

– Офицер обязан все успевать. А сапожная щетка и носовой платок всегда должны быть под рукой. Понял, лейтенант?

– Так точно.

– Пойдешь на Узень командиром мостового взвода.

– Жена у меня, товарищ майор...

– Не понял, – сказал комбат, словно услышал об инопланетянах.

Подошел к Давлетову вплотную, повел четко вылепленным носом.

– Жена у меня, – повторил Давлетов. – У КПП сидит.

– Ты что, лейтенант, рехнулся?

Давлетов растерянно молчал.

– Какого лешего на Маньчжурку ее приволок? Жилья здесь нет.

Майор еще раз повел носом, отвернулся от Давлетова, заходил взад-вперед, ступая по ковровой дорожке зеркальными хромачами.

– Ну, и лейтенанты пошли! Не успела женилка вырасти, жену подавай! – повернулся к Халиулу: – Что, сперма в мозги бросилась?

– Так точно, – плохо соображая, ответил Халиул.

– Правильно делаешь, что соглашаешься. Перечить начальству – что мочиться против ветра... Как твоя фамилия, говоришь?

– Давлетов.

– Твой объект, Давлетов – ИсСо-3. К сроку не сдашь, штаны спушу и набью морду, понял?.. Тут с вашей роты на продскладе машина. Грузи жену, и отправляйтесь. Разбирайся на месте!

Райхан ничего не сказала, но, видно, почуяла растерянность родимого супруга, погладила тихонько его руку. Он бодренько сказал:

– Все в порядке.

Но не стало больше того Халиула, что гордо восседал в тарантасе и по-хозяйски прижимал невесту. Неуверенность постучалась в его душу. Нет, он не надломился в тот день, но словно бы ощутил на себе преследующий взгляд, отчего хотелось обернуться, укрыться за плотной дверью... Так бывает с незащищенными душами, на них всегда остаются заметные следы от окрика, от угрозы и даже от идиотского: «Сниму штаны и набью морду»...

Однако все худо-бедно устроилось. Ротный, плешивый и неказистый капитан, с колодками фронтовых наград, сказал Халиулу:

– Не горюй, Давлетов. Видал за крайней палаткой вагон на полозьях? Бесхозный вагон. Старшина у геологов на бутылку спирта выменял, теперь там барахло держит. – Он снял телефонную трубку, приказал не по-приказному: – Старшину ко мне!

Тот вошел без стука.

– Помочь человеку надо, Егор Лукич, – кивнул на Давлетова ротный. – С женой приехал. Женщине спать негде. Имущество в старую будку перетащишь.

Старшина скрипуче согласился и вышел.

– Вот и уладилось, Давлетов, – сказал ротный. – Обустройствайтесь. Сутки на это дело. Мосток твой недалеко, километров восемь. Для молодых ног – ерунда. Раза три в неделю будешь проводывать жену...

Райхан, когда узнала, что Халиул не каждую ночь сможет ночевать дома, замотала головой: нет, нет, я с тобой! А куда «с тобой»? В палатку с солдатами?..

Она завздохала, затем как-то вмиг успокоилась, вооружилась выпрошенной у «дяди Егора» шваброй и стала наводить в вагончике уют.

Когда через трое суток Халиул прибежал к Райхан, то не узнал своего жилья. Все было вычищено, выскоблено, подкрашено. У стены притулился широкий топчан, заправленный цветастым покрывалом с двумя подушками под кружевными накидками. На вагонных окошках висели марлевые занавески.

– Ужин горячий, Халиул. Айда умываться, солью тебе из ковшика.

За ужином Райхан спросила:

– Летающий Вагон у тебя был?

– Разве вагоны летают? – мягко вразумил он жену. – Летают вертолеты.

– Нет – возразила она. – Так вашего командира батальона, майора, зовут. Мне старшина дядя Егор сказал...

И ведь точно, было такое прозвище у комбата, на слуху носилось, а услышал его впервые Давлетов от жены. «Летающий» – потому что сплетничали, будто списали в свое время Прокопчука за какую-то провинность из летного училища. А «Вагон» – наверно из-за того, что

без него не обойтись никакой стройке. Появлялся майор Прокопчук на объектах неожиданно, сваливался, как вагон на голову, не дай бог, если кто отскочить не успеет. В первую неделю комбат дважды навещался на ИсСо-3, так именовалось на казенном языке искусственное сооружение, а попросту мост через реку Узень. Не мост, конечно, а мосток, как сказал ротный, но мосток капитальный, под железную дорогу, на которую пока не было и намека.

Приезжал Прокопчук на газике. Из машины сначала показывались блескучие хромачи, затем на землю ступал их обладатель. Давлетов успевал заскочить в прорабку, на скоростях скидывал яловые сапоги и натягивал начищенные для такого случая хромовые. Прокопчук понимающе ждал возле машины, стоял посреди строительного мусора, покачиваясь с пяток на носки. Давлетов рысью и с замиранием сердца мчался к нему.

– Сколько? – спрашивал отрывисто комбат.

– Сто пять, – отвечал Халиул.

Это означало, что норма выработки по отрывке котлована составляла в среднем сто пять процентов. Она, конечно, была ниже, может, чуть доходила до девяноста восьми. Но ротный – мужик битый – проинструктировал молодого взводного: меньше ста пяти цифру не называть.

– Сроки, лейтенант, сроки! – напоминал комбат.

А сроки показались лейтенанту Давлетову неоправданно завышенными. Сделав такое открытие, он мысленно ахнул и возгордился. Вот когдагодились учебники, которые он тащил с собой через всю страну. Несколько ночей он сидел в прорабке, рассчитывая и подсчитывая. Даже Райхан не проводывал. И ведь прав оказался. Вышло, что все работы можно закончить недели на две раньше. Никому не сказал об этом, решив удивить мир и майора Прокопчука. Чтобы поглядел на него комбат уважительно, без зеленых бесенят в глазах, чтобы руку при встрече подал и запомнил Давлетова на случай, если понадобится на выдвижение толковый офицер.

Он дневал и ночевал на объекте. К Райхан прибежал лишь раз в неделю. И, наверное, получилось бы, как задумывалось – закончили объект на одиннадцать дней раньше срока. А сдали представителю заказчика позже, потому что пришлось переделывать. Оказалось, скосили мост на полтора градуса. По недосмотру, по оплошности, а не из-за расчетов.

Майор Прокопчук прикатил тогда спозаранку. Прямо из машины заорал:

– Ко мне!

Давлетов даже сапоги не успел сменить, подбежал к командиру.

– Какой ишак надоумил тебя вмешиваться в проект?

Тоскливо прошел за комбатом в прорабку, остановился у порога, как чужак, забредший в незнакомый дом.

– Расчеты правильные, – робко сказал Давлетов и протянул комбату тетрадь.

Тот отшвырнул ее, привстал, опершись ладонями о стол, проткнул Давлетова взглядом.

– Премии лишил людей, дур-рак!..

И Давлетов ушел в тот вечер в свой семейный вагон. Увидев его растерянным, с перекосившимся от внутренней боли лицом, жена залопотала, захлопотала, закрутилась вокруг него, обволакивая жалостью и сочувствием. А он все никак не мог отмякнуть, словно внутри засела железная скоба. Только ночью, когда рассказал ей все, отошел, оттаял и сразу изнемог от слабости. А она шептала:

– Зачем тебе это, Халиул? У каждого свое место. Воробей только у курицы может зерно стащить. А коршун разве позволит?

И запела тихонько старую песню, где главным было то, что девушка любит батыра, и все об этом знают: конь знает, вода знает. Он один не знает.

– Знаю, – сказал он.

– Ты скоро отцом будешь, – шепнула она.

После ее слов горечь перемешалась с радостью.

– Дочку назовем – Зифа, – снова шепотом сказала жена.

Халиул не спросил: почему дочку, а вдруг сын будет? Ответил:

– Да, Зифа. Зифа-Буйла.

Они лежали рядышком в полном значения и смысла молчании и сами были полны смыслом имени еще не родившейся дочери. Оно на их родном языке означало самое красивое, что есть вокруг... Вон стоит стройная и кудрявая, глаз не отвести, березка – значит, Зифа-Буйла. Хрустальный родник под горой – тоже Зифа. И дочка у них будет самая красивая, самая стройная. Что-то свершилось в ту ночь в молодом Давлетове, он еще сам этого не ведал. Наутро встал успокоенный, преисполненный нежности к Райхан, словно она и будущий ребенок стали ему щитом от всех житейских невзгод.

Он нашел Прокопчука на объекте по соседству. Повинился перед ним, спокойно так сказав, что больше подобного не повторится. Тот махнул рукой.

– Выговорешник все равно схлопочешь. Катись, подбирай свои орешки...

Больше Давлетов с колеи не сворачивал. Куда она вела, туда и шел. Первое время еще возвращался мысленно к случившемуся, даже иногда появлялось желание что-то сделать по своему, что-то переиначить. Но вспоминал крутой подбородок Прокопчука и его зеленоватые глаза. Нет уж! Воробей он и есть воробей...

В передовиках Давлетов не ходил, потому, наверно, и командовал взводом целых десять лет, дослужившись лишь до старшего лейтенанта. Изредка подступала обида: не из худших офицер Давлетов, не на левом фланге стоял по производственным показателям. Пускай бы обгоняли с правого фланга! Но ведь и с левого проскакивали. Обиду он жевал молча и терпеливо. Для него не было секретом мнение начальства: звезд с неба не хватает, но надежен.

Он убедился в этом позже, когда вдруг стали сокращать армию. Не признававший ничьих мнений Хрущев выкинул лозунг: «Перекуем мечи на орала!» И пошли наперегонки перековырять. Мимо их «точки» в сторону границы прошли два саперных батальона. Зачем? С какой целью?.. Оказывается, взрывать бронеколпаки укрепрайонов, которые еще Блюхер строил. А к чему взрывать? Не нужны стали, пускай стоят с малой охраной!.. Линейные корабли стали резать на металл. Строили, строили – и резать!.. Лейтенантский ум отказывался понимать такую перековку.

Однако та политика коснулась и Давлетова. Те, кто высывался да вперед скакал, попали под сокращение в первую волну. Дураку и то ясно, что начальство не любит таких, с ними, хоть и считаются, а не любят. Вот и загремели под фанфары мирного сосуществования в свинари. И ротного тоже подмели, всего год не дотянул до полной пенсии. Прокопчук, верно, помог. Ротный однажды посмел сказать ему, чтобы тот судил о службе не по сапогам... Так для старшего лейтенанта Давлетова освободилась капитанская должность.

Жена в ту весну как раз за дочкой поехала. Зифу пришлось отправить на жительство к бабкам, потому что пришло время вести ее в школу. А школы не было. Две зимы прожила маленькая Зифа в Иткуле. Лучше бы, конечно, оставлять ее на лето у бабок, там все-таки лес, озеро, два огорода. Но Райхан упертая: что решила, то и сделает. А на Маньчжурке – пылюка и безлесная речушка Узень, через которую он строил свой первый несчастливый мост. Тоскливое место – Маньчжурка. Но Давлетов его не сам выбирал, служебный жребий такой выпал. Со жребием же, как известно, не спорят... Да и легче стало, чем в первые годы. Жилой городок появился. Однокомнатную квартиру ему дали, хотя и без удобств, но после вагончика – дворец. А с новой должностью он заполучил и бывшую квартиру ротного, из двух комнат.

Давлетов внутренне распрямился и как-то разом перестал считать себя неудачником. Да и раньше он об этом не шибко задумывался, разве что изредка, когда узнавал, что тот или иной

его однокашник стал капитаном. Где они теперь, те капитаны?.. Перековали их на орала, а он вот служит, и на его погонах вот-вот появится четвертая звездочка. Красивое звание – капитан.

Однажды к нему в роту явились двое: капитан и старшина из внутренних войск.

– Командир, дай бульдозер на неделю!

Давлетов знал, что километрах в тридцати от их «точки» была зона. Чем там эки занимались, он понятия не имел. Кто говорил, что золото роют в шахте, а кто утверждал, что ковыряют урановую руду. Ковыряют, и бог с ними! Значит, заслужили, чтобы ковырять, у каждого свое дело и свои заботы... И вот надо же, понадобился им командир роты Давлетов!

– Озерцо хотим выкопать, командир, – сказал капитан. – Ручеек рядом бежит, можно запруду сделать. Чтобы окунуться после службы. Сам понимаешь, какая у нас служба.

– Не могу, – ответил Давлетов. – Обратитесь к вышестоящему командованию.

– Да нам на неделю всего, зачем начальство тревожить? – возразил капитан. – Ты сам начальник не из маленьких, вон сколько техники! А мы тебе подбросим ящик тушенки, огурчиков там, помидор.

Давлетов сделал отвергающий жест, и капитан с хитрой укоризной добавил:

– Да не персонально для тебя, командир! Для солдатского котла. Можешь и оприходовать, если желание есть.

– Не положено, – сказал Давлетов.

Старшина в сердцах матюгнулся, а капитан, уходя, сказал:

– Чурка ты, а не командир! – И тоже загнул трехэтажным...

Через трое суток от Прокопчука пришли две телефонограммы. В первой он сообщал о присвоении Давлетову очередного воинского звания. Во второй приказывал выделить для оказания помощи соседям бульдозер сроком на восемнадцать дней.

Капитан Давлетов выделил, потому что теперь было положено...

Лёва Присыпкин по кличке Арбуз

1.

Летним безоблачным утром на пристани города Рыбинска сидел на скамейке молодой кругленький мужичок. Был он в кепке-восьмиклинке, щекастый, губастый; вид имел полусонный, но острые глазки взирали на пристанскую суету озабоченно и прицельно.

Это был Лева Присыпкин. Имя и фамилия перешли к нему от родителей, которых он помнил очень смутно. Те воспоминания были связаны с большим одноэтажным домом, рождественскими пряниками, тихим многолюдьем и тяжелыми мешками в кладовой, которые вытаскивали и ставили посреди комнаты два милиционера. А человек в пальто сидел напротив отца за столом и что-то писал. После этого Лева оказался в спецприемнике и фамилию свою стал слышать редко. Бритоголовая пацанва надела на него за красные щеки прозвищем Арбуз.

Позавчера за ним с лязгом захлопнулись железные ворота. Выплюнули его на волю с тощей котомкой за плечами и с двадцатью тремя рублями в кармане. До лесхозовского поселка он дотопал на своих двоих. Купил в сельпо за три двадцать хлопчатобумажные штаны, белые тряпочные туфли и кепку – по два с полтиной за то и другое. Отслюнил еще петушка за бутылку спирта, кильку и кирпич хлеба. «Эх, хреновые – деньги новые!» Расползлись его двадцать три карбованца, еле на билет до Ярославля наскреб.

А жрать было охота. Хорошо бы вон того бацильного с фанерным чемоданом чесануть. Но Арбуз твердо решил: хватит! Хватит кормить вонючую девку Параньку! В гробу он видал все авторитеты! И в Столыпине накатался под белую тесьму... Он так и загадал в конце зимы: «Попаду под амнистию – завяжу». Потому как суеверным откровением втемяшились в его башку последние слова папы Каряги:

– Играть в очко с уголовкой – банк не сорвать. А по мелочам жечь свечу – сгоришь.

В тот день папу переводили в одиночку – провожальный приют живых покойничков. А назавтра тюремный телефон разнес по камерам, что Каряга откинул кони, не дождавшись кончинного звонка. Когда его вывели по какой-то надобности, он сграбастал конвойного, вырвал у него карабин, велел молиться, а сам пошел по бетонному переходу. Видать, хотел последний раз глотнуть свежего воздуха. А сглотнул от часового маслину.

Надеялся Лёва попасть в список на амнистию еще в Уфимской колонии. Потому и стучал режимщику исправно и добросовестно. Обманул старлей. Отправил его на зону в город Рыбинск. Да еще записку написал тамошнему начальнику режима. Тот был в звании майора, а внешностью – только подковы гнуть. Оглядел Лёву брезгливо, криво усмехнулся:

– Здесь тоже стучать будешь. Определю помощником хлеботора. Добудешь ценную информацию – попадешь под амнистию.

Хлеботора на зоне был в уважении. И с начальством умел ладить. Даже гарь у него водилась. Перепадало той сивушной гари и Лева. Однажды, хватив четыре стакана, Хлеботора раскололся: статью получил за самородочек.

Та старательская артель вкалывала далеко за Байкалом, на ручье под названием Федькин Ключ. Рулил артелью Фома-кержак, мужик – на зуб не попадайся. Если по-умному, то возле него за два года можно миллионщиком стать. Взял свое и отвали, а там – живи-гуляй. Хлеботора и умыслил сорваться в те края, да не один, Арбуза сговорил за компанию. Главное, объяснил он, до Иркутска добраться. Там один надежный кыргатай (дед) такую ксиву сварганит – ни один мент не придерется. Арбуз в порыве благодарности даже папой Хлеботора назвал. А у самого перед глазами живая амнистия замаячила...

Режимщик слово сдержал. После того, как Хлеботора при побеге заграбастали, включил Арбуза в список на амнистию. А перед тем, как выпустить за ворота, вызвал к себе и сказал:

– Пададь ты, Присыпкин!.. Не попадайся больше, а то свои пришьют...

Арбуз и не собирался попадаться. И кликуху вознамерился забыть намертво – только Лева. Пока без фамилии, просто Лева, которому надо добраться сначала до Ярославля, а там прямо по рельсам, за Байкал, к Фоме-кержаку. Можно и в саврасках походить, повкальвать ради светлого живи-гуляй...

Колесный пароход приткнулся к причалу под вечер. Лева вместе с толпой пассажиров прошел по узким сходням на палубу. Народ заторопился вниз расхватывать места. Лева пристроился на канатах возле большой катушки. Речной свежести не боялся, наоборот, хотел глотать ее – воля! Сладкий воздух на воле.

Пароходик зашлепал лопастями. Причал, пристанские домишки, весь овражный берег стали отодвигаться. Смеркалось. Лева пристроил котомку под голову, прилег на канаты. В сторону зоны медленно уплывало густеющее небо, и убаюкивающе шлепали по воде колесные лопасти. Лева уснул и не заметил как. А пробудился от тихих песенных голосов. Чистый женский голос запевал:

*Ночь пришла на мягких лапах,
Дышит как медведь...*

Второй, с легкой возрастной осиплостью, подхватывал:

*Чтобы мальчик наш не плакал,
Мама будет не-ть...*

И до того у этих двух бабенок получалось пригоже, что Леве захотелось вспомнить мать: пела ли она ему когда? Вроде бы черные локоны у нее были и медальон на цепке. А вот пела ли?.. Нет, не смог он вспомнить мать. И как только понял это, тотчас и сообразил, что не спит.

Приподнялся на локте и увидел близко обеих, молодую и в возрасте. Они пели для себя, пока вдруг не заметили тарасившегося на них Леву.

Когда допели, та, что постарше, спросила:

– Чего уставился? Подтягивай.

– Не умею, – ответил Лева и сам услышал, что вышло жалобно.

Обе засмеялись, беспечно и беспричинно. И у Левы засосало внутри – от неприкаянности, от неуютности, от предстоящей дальней дороги и от голодухи. Молодая была, пожалуй, ростом с него, вся спелая, с нерастраченной грудью, хорошо заметной под красной вязаной кофточкой. Женщины, расстелив на чемодане белый плат, достали из авоськи краюху хлеба, шматок сала, помидоры.

– Иди к нам, мордастеный, – сказала старшая. – Присаживайся к столу.

Лева сглотнул слюну и готовно поднялся. Взял хлебный ломоть и пластину сала.

– Как зовут-то? – спросила старшая.

Лева едва не ответил: «Арбуз», но спохватился, назвал по имени.

– А меня – Феня, – сказала она. – А это – Нина, племяшка мне. В Ярославль или дальше?

– Как получится, – ответил он.

– Так и не знаешь, куда едешь?

– Не ждет никто.

– Родни что ли нет?

– Нет.

Наверное, судьба не всегда выглядит злодейкой. Есть у нее и другое лицо, может быть, даже с ямочками на щеках, такое, как у этой вот Нины, повстречавшейся Леве Присыпкину на стареньком пароходике, что легонько шлепал вниз по Волге. Ночь, звезды, речной воздух

и сонные берега, да еще женщина, которая не отталкивает тебя взглядом – не подарок ли судьбы?

Лева старался есть, не жадничая. Помидорину аккуратно разрезал на четыре доли и, не торопясь, посыпал их крупной солью. Но Феня догадалась.

– Добирай. Оголодал ты, видать, на лесосплаве.

Лева добирать с чемоданной скатерти не стал. Голодный червяк успокоился. Достал пачку «Прибоя», задымил. Окинул женщин мужским взглядом. Спросил Нину с вызовом:

– Замужем?

– Нет.

– Чего же засиделась?

– А ты никак подсвататься решил! – сердито сказала Феня.

– Я человек вольный, – ответил он. – Хоть гуляй, хоть в церковь.

– А шиши-то на гулянку есть?

Безденежный Лева вздохнул и глубокомысленно изрек, как это делал в подпитии Хлебо-рез:

– Бог – не фраер, он мужик жалостливый, отстегнет на гулянку.

– Уж не из блатных ли ты, Лева?

И он, отгородивший себя ото всего, что с ним было дотоле, вознамерившийся поставить на своей ранешней биографии березовый крест, вдруг неожиданно признался:

– По амнистии я.

– Ох! – выдохнула Феня с запоздалой опаской.

– Что «ох»? – вскинулся Лева. Не от того, что Фенина опаска его обидела. Просто он учуял, что и как надо сказать. Такое чутье у него уже давно выработалось. Лишь бы первые слова – в масть, а дальше подстегивал себя, да так, что до надрыва, даже сам верить начинал.

– Что «ох»? Вы думаете, там все урки? А на воле ангелочки?.. Думаете, честных человек уголовка не замечает?

Нина страдальчески скривилась. Феня замахала руками:

– Оно так, Лева, так. От сумы да от тюрьмы...

– Если из зоны, так ему перо в душу, да? – не унимался Лева. – А если человека по чистой жизни тоска заела? А ему кукиш! – Он представил огромный кукиш перед своим носом и показался сам себе истомившимся по чистой жизни.

Лева смолк и опустил голову.

– Родителей-то давно потерял? – спросила Феня.

– Подкидыш я, – соврал он. – Детдомовский.

– Ах ты, боженьки! – воскликнула она жалостливо. – И куда же ты теперь?

– Куда пароход привезет.

– А есть ли кто знакомый в Ярославле?

– Нету.

– Ежели притулиться негде, у нас квартируй. Мы с Нинусей вдвоем живем. Домок – не хоромы, а в чулане кровать поместится...

Так нежданно-негаданно прибился Лева к храмовому граду Ярославлю. Домишко у племянницы с теткой был ветхий, но внутри ухоженный, как старичок перед сознательной кончиной. Был при доме и огородик, выходивший плетневым тыном к речке Которосли.

Кровати лишней не нашлось. Но Лева обнаружил в сарайке не шибко затрухлявленные доски и, обученный в зоне плотницкому ремеслу, сколотил топчан. Бабоньки уделили ему из своего гардероба матрас и байковое одеяло, нашлась и наволочка, которую он набил пахучим сеном из одинокой копешки на берегу Которосли. И спал первую ночь на новом месте сном праведника.

Утром обе ушли на работу, не разбудив его. Он проснулся, полежал, впитывая тишину и покой. Затем вышел в маленькую горницу, где стояли впритык торцами две железные кровати с шишечками, Нины и Фени. На столе лежала записка: «Лева, картоха в печке, хлеб и огурцы в сенах. Ешь».

«Ну, и раззявы! – обозвал он их мысленно. – Оставили в доме чужого беспаспортного мужика, собирай в узел манатки и рви когти». Собрать, конечно, особо нечего, но все равно: романовский нестарый полушубок, обручальное колечко в коробочке на комод. Чье, интересно, Фенино или Нинки?.. Мужика, судя по всему, в доме давно нет.

Лева вышел во двор. Под ветхим навесом валялись осиновые чурбаки. Топор торчал в колоде. Не особо ему хотелось, вернее, совсем не хотелось возиться с теми чурбаками. Но перед глазами маячило лицо Нины с мягкой улыбкой. Он представил, как она, придя с работы, изумится, увидев поленицу...

Так все и произошло. Феня даже вслух высказалась:

– Трудовой ты мужичок, Лева. А человека по труду судят... Однако плюнь на всю домашность, с утречка иди в милицию, на учет надо. Как без паспорта будешь?

Лежа без сна в своем чулане, он думал о том, что права Феня: без паспорта никак не обойтись. И хорошо бы без синички, чтобы судимость не кидалась сразу в глаза. С паспортом он и с Фомой-кержаком легче договорится. Вспомнил про фартового короля-старателя и покривился: такую даль переться! Да и будет ли оно еще, то золото?

Душа у Левы вся была в расслабленности и покое. Еще бы Нинку под бок, и сморкал он тогда на все миллионы! А может, и осесть тут? Жениться по закону на Нинке, баба видная и, по всему заметно, годная для семейной жизни: чистая, не крикливая, и серые глаза, как колодцы.

Он встал, прошлепал по скрипучим половицам босыми ногами на кухню, хлебнул из ковша холодной воды. Приоткрыл дверь в горницу. Нинкина кровать была поближе. Девка спала, укрывшись простынею до подбородка. Только одна ступня была наружу, вроде бы как золотилась, вызывая у Левы желание дотронуться, откинуть одеяло, схватить, чтобы затрепыхалась Нинка в руках, как большая белая рыба... Но воры – тоже люди и добро помнят.

С паспортом оказалось все непросто. Милицейская капитанша так заморочила ему мозги своим вежливым голосом, что на улицу Лева вышел, будто из трясины вылез. Одно понял: убираться ему надо из доброго города Ярославля и двигать к месту, означенному в лагерной справке.

– Сама пойду с тобой в милицию! – заявила Феня. – Я как-никак депутат райсовета, руку подымаю вместе с большим начальством.

– Кем же ты работаешь? – удивился Лева.

– Штукатуром. Микрорайон строим.

– Портрет нашей Фени на районной доске Почета висит, – сказала Нина. – Квартиру с удобствами ей обещали.

– Ну, запела! – отмахнулась Феня. – Шла бы на стройку, так и тебя повесили бы на доску. Еще не знаю, как с Левой получится. Для милиции такой депутат, как я, что хвост собачий.

– А ты где работаешь? – спросил Лева Нину.

– На почтамте. Телетайписткой.

Лева не понял.

– Телеграммы передаю.

– Говорила ей: учись в институте на строителя, – вмешалась Феня, – не захотела.

Теперь вот записалась в военкомате на вербовку. В Чехию хочет, на узел связи.

– Не надо, – остановила ее Нина.

– В общем, Лева, отпрошусь завтра, и пойдем вместе...

Она оказалась бабой пробивной. Капитанша тыкала ей в нос какие-то инструкции, а она махала руками и объясняла, что никакая бумажка не может помешать счастью племянницы. Ошалелый Лева никак не мог взять в толк, причем здесь Нинка. А Феня доказывала, что ее племянница ждала жениха больше трех лет, что плохих людей не ждут, а оступиться по дурному случаю может каждый. Тут Лева и сообразил, что жених-то – это он, и что его, оказывается, ждала из колонии Нинка.

Когда вышли из милиции, Феня сказала:

– Деваться некуда, пойдете с Нинкой в ЗАГС, подадите заявление. Там вам справку дадут для этой сухостоины в погонах. А получишь паспорт, скажете, что раздумали регистрироваться...

Нина было заартачилась участвовать в таком обмане, но Феня погладила ее по голове, проговорила успокаивающе:

– Для жизни ведь, Нинусенька. А то замыкают мужика, опять пойдет по кривой дорожке. Для доброго дела и обмануть власть на грех.

Заявление о регистрации принимали по воскресеньям. Целых три довоскресных ночи у Левы была в голове полная сумятица. Золотой фарт отодвигался все дальше и дальше. И Нинка чего-то вдруг изменилась. Не отвечала больше Лева улыбкой, не сияла глазами. Стала строгой и недоступной, как икона в музее. А чего, спрашивается?.. «Я все сделаю, чтобы пособить тебе», – сказала. Он украдкой ощупывал взглядом ядреную Нинкину фигуру и думал: зачем власть обманывать, если можно жениться всерьез? Феня квартиру получит, им с Нинкой эта крыша останется. Думы, по-комариному назойливые и кусачие, довели Леву до того, что в воскресное утро затосковал он по-черному. И вроде бы даже по надежной семейной жизни затосковал, по Нинке, что могла бы обнимать его белокожими руками.

За завтраком он сказал:

– Вот что, Феня. Вот что, Нина. Надумал я жизнь свою вязать намертво. Порешил, чтобы стали мы с тобой, Нина, законными мужем и женой.

Нина от растерянности заалела. Феня положила ложку на стол и сказала:

– Ты эти басни, Лев, брось!

Ни разу до того она его Львом не называла, а тут видно захотела придать словам серьезный и окончательный смысл.

– Для такого дела, Лев, любовь нужна и обоюдное согласие.

– Дак, полюбил я твою племянницу, Феня!

– Ее полюбить не грех. Тебя вот, непутевого, кто полюбит!

Лева повернулся к Нине, попросил жалобно:

– Полюби, а!

Она выскочила из-за стола, выбежала во двор. Тетка метнулась за ней, оставив открытыми двери. Лева услышал, как она уговаривала племянницу:

– Ну, ты чего, Нинусь! Плакать-то почто? Ну, подадите заявление, и делу конец. Пушай угол ищет. У бабы Поли вон квартирант съезжает. Пустит на зиму нашего малахольного. Ну, не плачь, Нинусь!..

В ЗАГС шли молча. И обратно тоже молча. Наконец, Нина сказала:

– Я у вас, как кукла.

– В куклы не играю, Нин, – ответил Лева. – Я – по любви. Век свободы не видать!

– Так не любят, Лева.

Он остановился, ухмыльнулся не по-доброму и в то же время горестно, оглядел Нину маленькими глазками. Цыкнул слюной на асфальт.

– Других найдем, – сказал гордо.

Развернулся и потопал в обратную сторону. Нина в растерянности шагнула за ним, остановилась, окликнула. Но он не обернулся, шлепал по тротуару зло, с бесповоротным желанием

умотать из этого города – туда, где гуляет по волнам черный ветер Баргузин, где беглецов крестьянки кормят хлебом. А оттуда мотнуть еще дальше, чтобы через два года вернуться в сером костюме-тройке, при шляпе и с тросточкой, кинуть к Нинкиным ногам шикарную шубу-подарок и уйти навовсе, даже если она побежит следом...

2.

Кроме вокзала, податься было некуда. Лева заглянул в зал ожидания. На скамейках не густо расположились дорожные люди. Лева постоял у расписания, вычисляя ближайший пассажирский на восток. В расписании их хватало, но все они уже прогудели мимо рано утром.

Касса не работала. Впрочем, касса ему была ни к чему при пустом кармане. До утра надо было скоротать время. Лева прошел в чахлый скверик напротив вокзала. Прицельным взглядом обнаружил на дальней скамейке двух алкашей. Они явно готовились к любимому делу: в руках у одного была авоська, из которой торчали бутылочные горлышки.

Лева весело и решительно подошел к ним.

– Набор костей! – поприветствовал радостно и каждому протянул руку.

Алкаши руку ему пожали, но глядели настороженно.

– Ты что же в прошлый раз не пришел? – спросил Лева молодого, худого и сгорбленного.

– Дык я... – начал тот.

Лева остановил его:

– Все знаю. Заметано... Познакомь с корешем.

Второй, мужик за сорок и с несвежей царапиной на щеке, протянул руку, назвал себя:

– Боря.

– И я Боря, – представился Лева. – Приглашаю в буфет.

Худой и сгорбленный с натугой произнес:

– Дык это, в буфет оно...

– Угощаю! – укоризненно перебил его Лева и похлопал по пустому карману.

Боря с несвежей царапиной сказал:

– У нас вона, – показал на авоську, – четыре розового. И вот, – вытянул из кармана два огурца и хлебный ломоть в табачных крошках.

– Заметано, – согласился Лева. – Вашу портяшку прикончим – и в буфет! Пивко с прицепом на портяшку в самый раз. Тара найдется?

– А как же? – с достоинством произнес Боря и опять же из кармана извлек граненый стакан.

Стакан пустили по кругу. Лева взял на себя обязанности разводящего. В разговоре выяснил, что худого и сгорбленного зовут Санек. Тот закосел быстро, видно насквозь проспиртовалась его жаждущая душа. Он жаловался на какого-то давнишнего бригадира, который не так ему закрыл наряд. Затем достал из брючного пистончика смятый трешник и плаксиво произнес:

– Все, что осталось.

– Убери с глаз эту мелочь, – небрежно сказал Лева и тут же вспомнил, что точно так говорил однажды Рокомбойль из романа, который тискал цирковой придурок. А Рокомбойлю ответил ушлый гражданин Бендер, красиво ответил. Память не дала осечки. И он тут же выдал:

– Годы летят, как деньги, а деньги улетают, как голуби!

Боря наморщил лоб, осмысливая, затем посветлел лицом и восхитился:

– Воистину!

Под третий винный круг Лева опять обратился к мудрости неизвестного сочинителя:

– Деньги приходят и уходят, а мысли о них остаются.

– Воистину! – вновь отреагировал Боря.

А Санек видно соединил зацепившиеся за его сознание слова со своими денежными делами и близкими жизненными обстоятельствами, потому что изрек:

– Светка – курва.

– Точно, – согласился Лева. – Самая что ни на есть курва. Такого человека не ценит! Ты же, Санек, мужик что надо!

– Понял, Боря? – адресовался Санек к приятелю. – Человек знает.

Продолжили они в нетопленной бане, куда их зазвал забывший про приглашение в буфет и распахнувший хмельную душу Боря. Там у него были заначены две бутылки самогону. В предбаннике, в укромном месте под половой доской, нашлись два стакана. С огорода Боря приволок огурцов. Лева наливал, поднимал стакан, требуя внимания.

– Денег надо очень много, чтобы понять, что не в деньгах счастье.

– Воистину! – удовлетворенно кивал головой тот.

Санек отключился, и его отволокли на лавку в предбанник. Когда стемнело, нетрезвый Боря сказал:

– Слышь, тетка! Моя баба еще хуже евоной Светки. Воистину. Домой мне надо. Ты все тут не кончай. Утром опохмелиться прибегу.

– Заметано, – согласился Лева.

Боря убрел по темному огороду. Лева вознамерился вернуться на вокзал, но отложил это дело до утра, когда, как ему помнилось, уходил скорый. Растянулся на банной полке и отрубился. Очнулся с рассветом. Санек с лавки свалился, напрудил под себя. Лева брезгливо пошарил у него в пистончике, достал смятый трешник и, не прикрыв дверь, выбрался огородами в улицу.

В ожидании скорого на восток он пристроился в зале ожидания. На перрон надо выходить с приходом поезда, когда вся толпа ринется к вагонам. В толчее всегда можно проскочить в вагон, а там само собой утрясется. Сидел Лева с прикрытыми глазами, голова с похмелья хоть и не болела, но внутрих подсасывало, и во рту было погано, будто в нем ночевали поросята.

– Вот он – субчик!

Лева не сразу сообразил, что голос ему знаком и что субчик – никто иной, а он. А когда сообразил, Феня уже сидела рядом.

– Ты что же это надумал, глаза твои бесстыжие! Люди тебе пособляют, а ты плюешь на них!

Лева поглядел на нее исподлобья, в нем шевельнулась благодарность к этой простодырой бабенке.

– Чего же ты, Лева, жалости-то не имеешь? Зачем Нинку обидел? Ты же виноватой сделал ее своим уходом. А каково с виной-то жить? Эх, Лева, Лева!.. Понимаю, за проволокой обхождению не учат. Так сердцем дойти должен. Нинка у нас святая. Не повезло ей в жизни, Лева. Сиротой с малолетства осталась, тебе сиротская жизнь ведома. Жених у нее был, на тебя между прочим обличьем смахивал. В армию уходил, обручальное колечко ей подарил, пусть, сказал, дожидается своего часа. Три года она ждала его. К ноябрьским праздникам прийти сулился. А вместо его самого цинковый гроб из Чехии прислали. Чужую народную власть защищал... Вот так, Лева.

– Не знал я, – буркнул он.

– Знал – не знал, а жениться – не корову торговать. Женщине уважение и ласка нужны, ухаживание. В кино там вместе сходить, на демонстрацию. Я со своим покойным мужем и познакомилась на демонстрации.

Вокзальное радио объявило о прибытии поезда. Кочевой народ заволновался. Лева тоже дернулся, но Феня решительно сказала:

– Вот что, Лева. Никуда ты не поедешь. Получишь документы, оглядишься – тогда и ступай на все четыре стороны, коли приспичит... Господи, да ты никак выпивший? Несет от тебя, как из лохани! У, бесстыжие твои глаза, а еще женихаться вздумал!..

Скорый поезд укатил куда надо, а Лева послушно побрел за Феней. И все покатилося, как было ею задумано.

Паспорт ему выписали. На работу он устроился плотницким подсобником на Фенину стройку. Сама она кудахтала над ним, как клушка над цыпленком. А Нина стала вся из себя вежливой и холодной, отчего Лева то впадал в тоску, то злился и тогда испытывал желание немедленно бежать туда, где гремит по холодным камням золотой Федыкин Ключ. О дне, назначенном для регистрации брака, никто не вспоминал.

В один из вечеров он сказал Нине:

– Пошли в кино, а?

Она глянула на него без сияния в глазах. Он поспешил заверить:

– Да не для ухаживания я, просто так. Чего дома-то сидеть?

Она согласилась. Народу в зале было полно, хотя кино оказалось пустяшным. Красивенькая свиарка с накрашенными губами пела песню о том, что она никогда не забудет овечьего пастуха. Люди на экране сплошь были веселые, выказывали свою богатенькую жизнь и волновались по никудышным причинам. Лева таким сказочкам не верил. А глянул сбоку на Нину, поразился. Она переживала за свиарку на полном серьезе, и глаза то беспокоились, то улыбались. Он нашел в киношном сумраке ее руку, она не отдернула сразу, но погодя, все же высвободила. В тот миг Лева и нажал на все тормоза и решил вырывать назад. Когда после кино уже слезли с трамвая и шли к дому, он сказал:

– Завтра я от вас отчаливаю. Не хочу мозолить тебе глаза, а себе душу.

Нина остановилась, поглядела на него пристально. Потом вдруг провела рукой по его уже отросшим волосам. Ответила:

– Не надо уезжать, Лева.

Ну, скажите, можно ли понять женский характер? Можно ли проникнуть в мотивы женских поступков? Неужели святая Нина полюбила бывшего зека? А, может, не полюбила, а пожалела? Да и кто скажет, где граница между бабьей жалостью и любовью?

Феня, узнав, захала, не к нему обратилась, а к ней:

– А подумала ли ты, Нинусь?.. Да как же это с бухты-баракты? Ведь и платья у тебя нет, и у него одни штаны с пузырями. И свадьбу какую-никакую надо. Чего же так вдруг?.. Может, передумаешь, Нинусь?

– Не передумаю, – твердо ответила Нина...

Все закрутилось, завертелось, покатилося впопыхах и в суматохе. Лева на свой аванс накупил всяких консервов и двенадцать бутылок водки, потому как гостей, с Нининой и Фениной работы, набралось возле двух десятков. Чтобы не шибко тратиться на мясо, порешили лишить жизни Фениных курей: богатая еда – курник. Белое платье с фатой обещала дать замужняя Нинина подружка. Фене удалось выпросить вне очереди черную кассу, и они с Ниной ходили покупать кольца, сняв ниткой мерку с Левиного пальца.

Глядел он на ту предсвадебную колготню, а большой радости не испытывал. Вроде бы и доволен был и ждал того дня, когда Нинка будет принадлежать ему целиком. А что-то свербило, втыкалось в мозги острыми когтями. Оно ведь часто бывает так: не дается что-то – охота до порешения жизни, а идет в руки – и «охота» ужимается.

По вечерам, перед тем, как ложиться спать, Нина заходила к нему в чулан. Сиделись рядом с ним, выпрашивала, как ему жилось в детдоме и кто его там обижал, как спозналса со шпаной, за что угодил в колонию. Лева ей кое-что рассказывал, а что-то и привирал. Она внимала с незамутненным сочувствием, и он обнимал ее по законному жениховскому

праву. Она и сама жалась к нему, даже губы открывала навстречу, бабье естество требовало. А больше – ни-ни.

– Чего ждать-то? – спрашивал. – Не все ли едино: сейчас или в воскресенье?

– Нет, – отвечала она, – до свадьбы – блуд.

Уходила на свою девичью постель, а он утыкался лицом в набитую сеном подушку и тяжело засыпал.

В пятницу Феня дала ему восемьдесят пять рублей и наказала:

– Костюм бери синий, со светлой полоской. И белую рубашку. Ну, а ботинки, сколь останется. Можно и плетенками обойтись.

В субботу с утра его отпустили с работы, и он отправился в универмаг. Трамвай довез его до вокзала, дальше надо было пешком. Вокзалы всегда манили Леву. На вокзалах была своя жизнь. Запах воли там остро бил в ноздри, садись и езжай – все перед тобой! И никто не стоит над душой, никто не говорит «нельзя», сам себе и авторитет, и гражданин начальник.

Он завернул в здание вокзала. У кассы топталась жидкая очередь. Едут же люди! По надобности или по прихоти, а едут! Станут выбегать на станции, покупать у бабок вареную картошку и малосольные огурцы, а потом трепаться с соседями, заливать им про то, что никогда в их жизни не случалось. Он вдруг остро позавидовал им. Новая жизнь, которую собрался с завтрашнего дня начать, показалась серой и нудной. Ну, и что – Нинка? Хорошая баба, семейная и постельная, никто не спорит. А дальше что? Сиди дома, колупайся в огороде, считай рубли до получки?.. А для просветления жизни – в кино, глядеть на крашеную свинарку?.. А где же воля?..

В сей миг голос вокзального диктора объявил о поезде на Хабаровск, том самом скором, с которого почти сняла его Феня. Верно, сама Левина судьба заставила поезд в тот день опоздать на два часа. Ах ты, Феня, добрая душа! Как же ты утетишь любимую племянницу, как справишься со свадебным конфузом!..

Лева стремительно ринулся к кассе. Со словами: «Командировка – по брони» растолкал очередь, пробрался к окошку, протянул деньги, предназначенные на свадебный костюм, и сказал:

– Плацкартный...

Свадебный обруч

1.

Отслужив срочную в железнодорожных войсках, Иван Сверяба решил внести свою лепту в строительство светлого будущего. В ремонтном батальоне, где он служил, старшина-сверхсрочник обнаружил у него золотые руки и смекалистые мозги, столь необходимые при ремонте механизмов, когда не хватает запчастей. Так что кадром на больших и малых стройках он был нужным. Но долго на одном месте не засиживался. Имущество его не обременяло: рюкзак с бельишком да гитара о семи струнах. Бельишко он время от времени выбрасывал из-за трудностей с отстиркой, а гитару берег и холил – она была ему помощницей в любой компании и, конечно же, в амурных делах. Однако связывать себя брачными узами он не собирался.

В Казахстане Иван оказался из-за красноречия вербовщика, а больше – по своей бродяжьей натуре. Вербовщик наговорил сказок: никакого уютного общежития на новой стройке не было. Да Иван и не надеялся на это, наученный прежним опытом. Иван Сверяба снял угол у разбитной старушенции, превратившей свою хибару в постоялый двор. Но запирать себя в этом углу еженощно – намерен не был.

Начиная ухаживать за какой-нибудь красотулей, он с места в карьер объяснял ей, что жениться не собирается, во всяком случае, в текущем году. Он так и говорил: в текущем. И попадал сразу в двух зайцев: не кривил душой (все равно же разбежаться придется!) и в то же время напускал туману, вроде бы намекал на будущее, когда текущий год пронесет мимо. А женское сердце – инструмент особенный, со скрытым источником питания. Сразу и не предугадаешь, в какую сторону стрелку качнет. На прямые мужские слова стрелка чаще всего не реагирует. Ей бродячие токи нужны, что возникают вокруг слов, от второго или третьего их смысла, которого и нет вовсе. Обещает парень жениться – врет! Говорит: не женюсь – вдруг проверяет на выдержку в текущем году?..

Так получилось и с Томкой. Была в пыльном городке аллеюка вокруг замусоренного пруда с названием «Брод». Молодежь по вечерам выползала туда на погляделки. Иван подчалил к девчачьей парочке, устроившейся на вросшей в землю скамейке. Спросил ту, которая была поблондинестее и с грудями торчком:

– А где ваша скрипочка?

– Какая скрипочка? – та даже растерялась.

– А разве не вы вчера в доме культуры играли на скрипке? Ну, прямо копия: волосы, шея, плечи...

Пока выясняли, кто играл на скрипке и играл ли вообще, успели познакомиться. А потом и подругу спровадили. Стояло душное лето. Даже вечер не освободил землю от зноя. Жила Томка на Сиреновой улице, хотя ни одного куста сирени во всей округе Иван и в глаза не видел. Провожал он свою новую знакомую между какими-то поставленными вразброс бараками. Во дворе, куда они зашли, было темно и сладковато пахло гнилью.

Подле высокого крыльца он обнял ее. Она пискнула: «Наглеть не надо!» Между поцелуями выяснил, что живет она с матерью, но у нее своя комната, что работает медсестрой в больнице и что замуж пока тоже не хочет. У нее были красивые глаза, серые, большие, ресничные, под темными дугами бровей. Такие лица рисуют на парфюмерных этикетках. Только губы чуть подкачали, верхняя заметно перекрывала нижнюю. Впрочем, это не портило портрет, даже придавало некое своеобразие.

– А как насчет чаю? – спросил Иван, вдоволь натоптавшись у крыльца.

– Поздно. Маму разбудим...

Чай был через встречу. И уговаривать не пришлось, гитара уговорила. И мать спала праведницей, не мешая дочернему счастью. Она вообще предоставила Томке полную самостоятельность, и блуд воспринимала, как житейскую потребность.

Мать делала вид, что не слышит, когда он с рассветом выползал из сеней в носках, чтоб не топтать, и, усевшись на крылечную ступеньку, надевал башмаки. Однажды, обувшись, задержался на крыльце, глядя, как отходит ночная синь от жухлых акаций, чудом пробившихся к свету. Посидел так минут пять-шесть и услышал шаркающие шаги за дверью: мать встала, чтобы задвинуть за ночным гостем засов.

Иван взял себе за правило: не задерживаться долго в одной постели. Как учует, что руки подружки начинают сжиматься в свадебный обруч, так и ходу. По-честному, в открытую, чтобы избыть всякую надежду с ее стороны. И с Томкой подошла пора расставаться. Он это почувствовал кожей. Пирожки с требухой, на которые ее мать была отменной мастерицей, стали застревать в горле. Совсем уж решился на последний разговор, но Томка опередила:

– Вань, – зашептала в одну из ночей – сказать тебе хочу, только не сердись... Понесла я, Вань. Второй месяц уже.

Он поначалу не понял, что такое она «понесла». А когда вдумался во «второй месяц», сообразил. И задосадовал на себя и на Томку. Даже отодвинулся от нее, взгляделся в бледное от лунного света лицо. Луна сияла в окно, как плохо вычищенная бронзовая тарелка. Лицо у Томки было вопросительно-испуганным, и верхняя губка с малой родинкой страдальчески оттопырилась.

– Как же ты, а? – не скрыл он огорчения. – Чего не береглась-то?

– Я береглась. Все равно попалась. Как решишь, так и будет.

– А чего решать-то? В больнице работаешь.

Он погладил ее по плечу. Она обиженно натянула до подбородка одеяло, отделив себя от его руки. Отвернувшись, произнесла:

– Ладно, сделаю...

Так обозначилась отсрочка прощального вечера.

Пока она договаривалась с какой-то Маргаритой Станиславной, врачихой, он продолжал ходить к ней. Мать по-прежнему пекла пирожки, плавала по комнате утицей. Она напоминала Ивану утицу не только переваливающейся походкой, но и слегка сплюснутым на конце носом. У Томки нос был видно отцов, аккуратненький, с курносинкой. Потчевала бабка Ивана, как близкую родню и не скрывала, что мыслит его любимым зятем.

Через пару дней после того, как он узнал, что Томка забеременела, старая попросила:

– Ты бы, Иван, помог гардероб привезти. Сторговала я у одного бобыля по дешевке. Как-никак механиком в гараже трудишься, дадут, чай, машину...

Он и не просил машину. Уговорил одного из шоферов сделать после смены левую ходку, загрузил вместе с ним допотопный гроб с фанерными завитушками и перевез на пыльную Сиреневую улицу. Полагалось соблюсти традицию – обмыть покупку. Мамаша сама водрузила на стол казенную белую головку. Выпили по одной и по другой, и тут в дверь громко застучали. Томка вздрогнула. Мать осторожно подплыла к сенным дверям, наклонилась к замочной скважине, прислушалась.

– Пусть Томка спустится, – послышался мужской, с сипотцой голос. – Поговорить надо.

– Багратка пришел, – испуганно повернулась мать к дочери.

Та вжалась в стул, потом распрямилась, гордо так вскинула голову. Сказала Ивану с извиняющейся улыбкой:

– Я сейчас.

Откинула в сенях засов. Оставив дверь открытой, сошла с крыльца.

– Ты что ходишь? – услышал Иван ее приглушенный голос. – Сгинь с глаз!

– Тамарочка, – засипел в ответ Багратка. – Мышка моя...

– Сгинь, паразит! – удерживая голос, прошипела Томка.

– Эт-та как эт-та «сгинь»? Зачем сгинь?.. Ах, ты, сученка клыкастая! Значит, я – сгинь, да? А как дрова или уголь надо – «в гости приходи»?..

Сверяба поднялся из-за стола. Мать хотела было остановить его, но опустила руки на колени и замерла.

– Ты мне кто, муж? – перешла на крик Томка. – Паразит ты сусатый и спекулянт! Топай отсюда, чтобы мои глаза тебя не видали!

– Я тебе покажу «не видали»! Я тебя приколочу, подошва!

Появившийся на крыльце Сверяба увидел, как Томка со всего размаху залепила ухажёру пощечину. А тот был маленький и тощий. Только грозно топорщились шикарные усы. Выйдя из столбняка после оплеухи, усатик схватил Томку за ворот кофточка, рванул, располосовав до пояса. Иван спрыгнул с крыльца, вмиг оттеснил Томку и легко крутанул усачу руки:

– Г-гаденыш, язви тебя в бочку! Брысь отседова, покуда не завинтил по шляпку!

Тот вырывался, норовя пустить в ход зубы, время от времени вскрикивая:

– Я твою мать... Я весь твой род...

Иван треснул его по шее, от души так треснул. И еще раз – в подглазье. Тут Багратка изловчился, хватанул зубами его палец, вырвался и уже на бегу продолжал сыпать проклятия всем Ивановым предкам и потомкам. После бегства усатого кавалера все почувствовали душевную неловкость. Томка кинулась смазывать йодом Иванов палец, бинтовать надумала, но он отмахнулся.

– Давай, Иван, еще по одной для успокоения, – предложила мать.

Но успокоиться не пришлось. Во дворе опять раздался Баграткин голос:

– Кучерявый! Если ты мужчина, выйди!

Иван тронулся было к дверям, но дочь с матерью усадили его.

– Буйный он. Ножиком чикнуть может. Не связывайся, Вань.

Мать проворно вынесла в сени табурет, забралась на него, выглянула в оконце под самой крышей и ахнула.

– Господи спаси! – пробормотала. – С косарем пришел.

Вообще-то Ивану не хотелось выходить под косарь. Но мужское достоинство не позволяло сидеть взаперти. Потому он дважды порывался к дверям и, не особо сопротивляясь, давал женщинам снова усадить себя за стол.

Через полчаса усатик утих. И все обошлось бы, все покатилося бы по привычному кругу, но вскоре в дверь снова постучали.

– Откройте – милиция!

Мать даже перекрестилась от неожиданности. Вошли старшина и сержант. За их спинами объявился Багратка, без косаря, зато с синяком под глазом.

– Вот он, – показал на Ивана.

Сверяба поежился, но виду не показал. Уставился на незваных гостей шалыми глазами.

– Ваши документы? – потребовал у него старшина.

– Я с собой в гости документов не беру.

– Это бандит! – вылез вперед Багратка. – Я экспертизу сниму!

– Что вы слушаете этого паразита! – вскинулась Томка, обращаясь к милиционерам. – Он сам с косарем прибежал, грозил всех порезать! Палец вон человеку до кости прокусил. Мы тоже экспертизу снимем...

– Старшина пытался остановить ее, но не тут-то было.

– Наглеть не надо! – не останавливалась она. – Спекулянт нестиранный! – это уже в адрес Багратки. – Все праздники привозными цветами торгует!

– Этот вот гражданин, – кивнув на Багратку, перебил ее, старшина, – жалуется, что вы устроили в квартире притон.

Томка аж задохнулась от возмущения.

– Я ему покажу притон! – попыталась обойти старшину и дотянуться до усатого ухажера.

Старшина безуспешно пытался ее успокоить. Сержант, в облике которого надежно осела скука, отступил на всякий случай к дверям. Томка стихла внезапно, будто выдохлась. И старшина, отловив паузу, спросил у Сверябы:

– Что вы делаете в этой квартире?

Иван всем видом и даже пожатием плеч изобразил недоумение по поводу такого вопроса. И вдруг, с полнейшей неожиданностью для себя, ответил:

– Свататься пришел.

Произнес и оторопел от своих слов. Хотел одернуть себя, сказать, что пошутил, но язык нес полную околесицу, – Она вот, – кивнул на Томку, – согласна.

Говорил, погружаясь с головой в омут без дна – не вынырнуть и помощи ждать неоткуда. А в голову уже стукнула мысль: ну и что? Жениться все равно когда-нибудь надо. К тому же беременна. И женского в хорошем достатке. Глянул на нее и увидел: растерялась, даже кровь с лица ушла. Глаза то засияют, то потухнут. И неотрывно на него смотрят: что мол, ты, Вань, говоришь? Неужели взаправду?.. Не обращая внимания на старшину, Иван подошел к Томке и, отрезая себе все пути назад, сказал:

– Взаправду, Тома.

Та обессилено ткнулась ему в плечо и замерла. Старшина растерянно переминался. Мать проворно сунулась к завитушечному купленному шкафу. Дело поворачивалось от худа к добру, и она, с сознанием важности момента, водрузила на стол две поллитровки и граненые стопарики.. Достала из холодильника помидорную закуску и пирожки с требухой. Наполнила стакашки, обратилась к милиционерам:

– Не побрезгуйте за дочкино счастье!

– При исполнении, – отказался старшина.

А сержант, оживившись, сказал старшине с извинительным вздохом:

– Грех отказываться. Святое дело.

И старшина, чтобы не впасть в грех, махнул рукой на «исполнение». Оба уселись за стол. Баграстка озирался, переводя взгляд с одного на другого, шевелил усами. Вякнул опять про экспертизу и вдруг завопил:

– На службе потребляете, граждане начальники!

Прожевав пирожок, старшина смерил его презрительным взглядом.

– Ах, ты, пьянь! С ножом бегаешь! Пальцы людям откусываешь! Мешаешь советскую семью создавать! Пошел вон, спекулянт! – повернулся к Ивану и Томке. – Извиняйте, молодые, за вторжение. Обязаны были откликнуться на сигнал...

Так Иван женился: будто вскочил на ходу в поезд и поехал неведомо куда. Однако куда бы ни ехал, а через семь месяцев родилась дочка, которую он настоял назвать в честь матери Верой.

Жизненную перемену Иван ощущал через борщи и оладушки, через жаркую перинную постель, на которой законно разбрасывалась в истоме и удовлетворении Томка. От всего этого у него было состояние сытого кота, оставалось жмуриться и мурлыкать. Но такое состояние скоро прошло, и он заскучал. Однако избавился от скукоты, занявшись в послеработное время душевным делом. По первости оно вроде бы и душевным не было. Какая душа в том, чтобы укрепить ножки у стола или починить табуретку? А взялся за приобретенный тещей по случаю шкаф-гардероб и понял вдруг, с какой любовью творил его давний мастер. Ни гвоздя, ни шурупа не было в том творении, шпунты сидели, будто литые, а завитушки, когда он снял краску, стали похожи на диковинных, но знакомых зверьков и счету им было двенадцать – по числу месяцев в году.

– Покрасили бы голубеньким, и делу конец! – сказала теща.

Иван отмолчался, лишь подумал: «Голубеньким захотела? Под глазки? Не дам увечить красоту!» Почти месяц возился он с тем шкафом под неодобрительными взглядами тещи. А когда отреставрировал, да все под мелкую шкурку, сам залюбовался тем, что сделал.

И теща расплылась в уважительной улыбке.

– Фактурная вещь получилась, Иван. На пару сотен потянет, а то и больше.

Иван отмахнулся от ее слов, а руки уже запросили другой работы, и чтобы тоже не тяп-ляп, а для глаз и сердца. За божескую цену он купил у левака со стройки полмашины вагонки. Не торопясь, стал обшивать их с Томкой комнату. Сам и светильники придумал, сделал их из нержавеющей стали и бараньих рогов... Превратив обшарпанную комнату в семейное гнездо, добрался до сеней. Выгородил там уголок с откатывающимися дверцами, разместил инструмент и разный домашний хлам. А когда родилась Верочка, смастерил для нее кроватку-качалку, да такую, что ни в одном магазине не сыщешь...

Всю ту домашнюю работу он делал с удовольствием, удивленно взглядывал на себя со стороны: с чего бы вдруг? Откуда взялась тяга к уюту и бытовой прочности?.. Или бродяжья жизнь опостылела? А может, в крови дремало чувство хозяина и пробудилось в барачном доме, где каждый закуток требовал мужского догляда?.. Теща теперь только похваливала зятя-примака и, убаюкивая, потчевала убойной самогонкой, чистой, с запахом трав и мяты. Он не отказывался от угощения, принимал с устатку пару стопок на сон грядущий. А пока сон пригрядет, укладывал Верочку. Рассказывал ей, ничего еще не понимавшей, сказки, в которых перемешивал быль и небыль, то, что слышал либо читал в детстве, а что и додумывал.

Томка злилась в такие минуты, говорила, чтобы он не городил чушь и не задуривал дочери мозги. Отгоняла его от качалки. Верочка начинала орать басом, никак не воспринимая материно «баюшки-баю». Томка изменилась. Пока гуляли, преданно заглядывала в глаза Ивану, послушно исполняла все его желания. А тут покрикивать стала, ровно бы штамп в паспорте и дочь отдала ей супруга в полное владение.

В один ветреный субботний вечер Иван обнаружил, что все в доме переделано-перештопано, и что руки его, привыкшие к инструменту, оказались незанятыми. Была весна, а вечер насутился не по-весеннему. Иван стоял во дворе и дымил. Томка позвала его ужинать.

Он отщелкнул окурок, вошел в дом. Сел за стол. Верочка потянулась к нему. Иван взял ее. Теща сказала:

– Не мужское это дело – кормить ребенка.

Дело и впрямь было «не мужским». Он обляпался кашей и передал дочь Томке.

– Чего не наливаешь? – спросила теща.

– Не охота.

Ужинал без аппетита. За чаем сказал:

– Длинный завтра день будет.

– Что так? – спросила теща.

– Руки занять нечем.

– Есть чем, Иван, есть! – радостно произнесла она. – Сколоти ты мне сарайку. И клеток штук пятнадцать. Кролей охота завести. Мясо свое будет. Свининки подкупим и колбас на зиму наделаем.

– Кролей обязательно белых, – сказала Томка.

– Почему белых? – спросил он.

– Шубу белую справлю. Как у Маргариты Станиславны.

– Что еще за Маргарита?

– Врачиха наша, забыл?.. Муж у нее сельхозтехником заведует. Между прочим, ему нужны хорошие механики. Самое малое, три сотни обещает. Самое малое, – подчеркнула она.

– Это три тыщи что ли по-старому? – спросила теща.

Томка согласно кивнула. Теща вздохнула. Иван сказал:

– Нету таких зарплат.

– У них премии больше, чем зарплата.

– Воруют что ли?

– Дурак, – ответила Томка.

– Но-но! – остановил ее Иван.

– Что «но-но»? Ходим, как шарамыги. Пальто приличного справить не могу. Постели своей нет! На маминых подушках спим!

Иван отодвинул стакан с чаем. Начал багроветь. Томка глядела на него с опаской, но и с любопытством. Иван уловил то любопытство, и в нем разом вскипело бешенство.

– Может, и ужин мамин едим?

Верочка закатилась в плаче.

– Наглеть не надо! – крикнула Томка.

Лицо у нее нервно и неровно зарумянилось, стало точно таким же, как тогда, при милиционерах, подтолкнувших Ивана к семейному счастью. Казалось, она вот-вот вскочит, чтобы дотянуться до Иванова лица, как пыталась достать в тот сватовской вечер усатого Багратку.

Иван выскочил в сени, схватил с вешалки плащ, заторопился в сумеречный двор. Встал под акациями. Слабый ветерок был влажным и теплым. От мусорных ящиков тянуло гнилью. Иван вдыхал гниlostный запах, воспринимая его неотъемлемо от себя сиюминутного, от своего состояния, будто гниль проникла в самое нутро. Ощущал обиду, злость, разжигал их в себе. Значит, пришла моя очередь, думал, значит, мне теперь «наглеть не надо»!

– Иван! – позвала с крыльца теща.

Иван не откликнулся, дождался, пока она притворила за собой дверь, и крупно зашагал по улице, заторопился, будто кто-то где-то его ждал.

Лед на пруду уже сошел. Вода в свете фонарей казалась черной и масляной. Аллейка, где он подклеился полтора года назад к Томке, была по-весеннему неухоженной. Скамейки еще не отошли от сырости. Но парочки ждать тепла не желали, обсушивали скамейки беспокойными задами.

Иван запоздало удивился: чего это ему понадобилось «на броду»? Уж лучше бы заглянуть в забегаловку, где кучкуется неприкаянный вербованный люд. Но и в забегаловку не тянуло. Он вдруг понял, что тянуло его к Верочке, к ее пухлым, словно перевязанным ниточками, ручонкам, к ее агуканью и смеху. Она плакала, тянулась к нему, а он сбежал! Даже не обернулся, уходя! Ему, видишь ли, захотелось в себе поковыряться, «на брод» захотелось! Побеситься захотелось! А с чего беситься-то? Злость потихоньку испарялась, уступая место покаянию.

Он круто завернул и зашагал домой. Дверь открыла теща.

– Чего сбег, ровно оглашенный?

– Прогулялся, – буркнул Иван.

– А Томка-то плакала. Дите у нее маленькое, жалеть надо. И прощать надо. Семья, Иван – святое, а гульба – богопротивное...

Жена была уже в кровати, полусидела, откинувшись на подушки, вязала. Верочка спала. Иван подошел к кровати, поглядел на дочь с пытливым вниманием, чувствуя нежность и беспокойство.

– Ложись, Вань, – позвала Томка...

Сарайку он все же сколотил. И клетки для кролей сделал. Унылые получились клетки, под стать настрою мастера. Но теща осталась довольной. Из-за кролей она устроилась уборщицей в рабочую столовую. Каждый вечер притаскивала оттуда по два ведра обедков.

Жизнь текла ровно, сыто, уныло, с разговорами о ценах, кролях и Маргарите Станиславне. Иван свирепо презирал Томкину врачиху и ее удачливого супруга из сельхозтехники. Своей неприязни не смог и не захотел скрыть, когда однажды вечером, уже летом, застал Мар-

гариту Станиславну на Сиреновой улице. С матово-смуглым лицом, полная, вальяжная, она сидела, не снимая соломенной шляпки, а вокруг увивались жена и теща. Знакомясь с Иваном, мадам оценивающе пробежалась по нему взглядом:

- Много о вас слышала. И о том, что у вас золотые руки, – кивнула на старинный шкаф.
- Ага, только грязь под ногтями, – буркнул Иван.
- Ваня! – воркующе-укоризненно произнесла Томка.
- Я в баню пошел, – сказал он, хотя в тот вечер в баню и не собирался.

На другой день, вернувшись с работы, он не увидел в доме ни шкафа старого мастера, ни светильников из бараньих рогов. Стоял и насуплено озирался. А Томка с ласковой опаской говорила:

– За три сотни Маргарита Станиславна взяла. И светильники за сотню. Ты же, Ванечка, светильников еще можешь наделать. А гардероб – мамин. Зато стенку купим. Сейчас у всех порядочных людей стенки... Ну, чего ты расстроился?

Иван не расстроился. Он затосковал, и тоска заползла в самое нутро.

– Деньги нам нужны будут, – сказала Томка. – Я еще не говорила тебе, Вань. У меня ведь снова задержка.

Иван продолжал молчать.

– Оно и ко времени, Вань. Сперва нянька, потом лялька. Рожу, и завяжем.

В тот вечер он снял со стены запылившуюся гитару, ушел в сенной закуток, сел на табуретку и стал бездумно тренькать. И так, пока не уловил, что какая-то мелодия пробивается на самой тонкой струне, а в голове роятся слова, из которых рождаются виденья. Чудные были те виденья: сосновый зимний лес, еле заметная запорошенная тропа, а обочь – молодой волк, попавший в капкан. Лежит с высунутым языком, и ничего ему не остается, как отгрызть лапу.

2.

С того дня жизнь Ивана изменилась. То ли враз промахнул несколько лет, то ли поумнел, а, может, и оглупел. Оладушки и пирожки с требухой жевал, как купленные с уличного лотка. Новых светильников делать не стал. Иногда в бездельном раздумье, минуя поворот к семейному очагу, уходил за крайние дома. В той стороне рос лесок. Посадили его солдаты секретного гарнизона, скрытого высоким забором. Секрет, впрочем, был относительным. Все в округе знали, что это железнодорожный батальон, и строит он узкоколейки между ракетными площадками, прятаясь в солончаковой степи.

Лесок делила асфальтовая дорожка. Ту часть, что примыкала к военному городку, охраняли надписи: «Стоять! Запретная зона!» Не было ни часовых, ни патрулей, но запрет действовал надежно. Привычка – вторая натура: нельзя – значит, нельзя! Потому парочки и гулливые кампании облюбовали ту часть, что была ближе к поселку. Ивана временами тоже тянуло в лесную зелень, да и просто к военному городку, все-таки три года отдал железнодорожным войскам. Однажды, в выходной, он шел вот так по лесной дорожке. День был на излете, уже тени испятнали землю. Шел, погруженный в себя, когда услышал голоса и вскрик женщины:

– Дочка у меня дома одна!

Иван решительно двинулся в сторону голосов. Мужиков было двое. Растопырив руки и гыгыкая, они загораживали женщине дорогу. Охоты ввязываться Иван не испытывал, тем более, что женщина вроде бы и не проявляла особой настойчивости. Даже сказала:

– Ну ладно, еще часок.

Тут только Иван обнаружил еще пару. У достархана с консервной закуской и тремя бутылками – нераспечатанной, початой и уже опорожненной – сидел рядом с пышнотелой блондинкой... усатый Багратка. Он тоже заметил Ивана. Отодвинул подругу. Не торопясь, поднялся. Окликнул приятелей. Показал на Ивана:

– Он. Кучерявый. Тот самый!

И все трое двинулись к нему. Дело запахло керосином. Можно, конечно, дать деру. Но Иван никогда ни от кого не бегал. И в этот раз не побежал, хотя и видел, что расклад не в его пользу. Наоборот, сделал шаг навстречу. Медлить в таких случаях себе дороже. Надо бить первому, того вон, квадратного, без шеи. Иван сместился чуть вправо, чтобы оказаться поближе к Квадрату. Тот находился позади Багратки и сбоку. Двигался, наклонив голову, будто колхозный бугай.

Скосив глаза, Иван заметил, что у Багратки в руках появился нож. Медленно приближаясь, он слегка водил лезвием по ладони, ровно бы правил на ремне бритву.

– Может, спасибо скажешь, Кучерявый, что я тебе свою подстилку уступил?

Баграткины слова спутали весь Иванов план. Забыв про бугая, он кинулся на бывшего Томкиного ухажера, достал его ногой, и тот сразу проглотил то, что еще хотел сказать. Однако Иван не успел уклониться от тяжелого кулака главного противника, кувыркнулся через Багратку. Но сразу вскочил, изловчился попасть головой Квадрату в переносицу. А третьего выпустил из виду, и тот прыгнул на него сзади, сдавив рукой горло. Неизвестно, чем бы все закончилось, если б вдруг не раздался из ближних кустов голос:

– Патр-руль! Забр-рать всех до выяснения личности!

Кто-то стремительно влез в свалку. Оба нападавших метнулись в кусты. Следом – их шлюхи. При чем та, у которой дома осталась одинешенька дочь, успела прихватить стоявшую подле нее початую поллитровку.

– Патр-руль! – крикнул в кусты неожиданный помощник. – Организовать пр-рследование!

Был он невысок, рыжеват, в полевой форме с погонами капитана. Светлые глаза под светлыми ресницами глядели сурово и официально. Багратка, продолжавший сидеть на земле, заегозил под его взглядом, попытался спрятать нож за спину.

– Пр-рошу! – произнес капитан и протянул за ножом руку.

– Это не мой! – сказал Багратка. – Это – его, – кивнул на Ивана.

– Р-разберемся. А теперь следуйте за мной!

– К-куда? – испуганно спросил тот.

– На гарнизонную гауптвахту. А утром пер-редам в КГБ.

– Зачем в КГБ? – завопил Багратка. – Это дело милицейское, начальник. Он сам на нас напал, этот кучерявый!

Усы у него обвисли. Он поднялся, переступил с ноги на ногу. И вдруг резво скакнул вбок. Помчался прыжками между деревьев, подгоняемый голосом капитана:

– Стой! Стр-релять буду!

– Спасибо, – сказал Иван, когда треск сучьев затих.

– Ненавижу, когда тр-рое на одного, – ответил тот. – Знакомые?

– Нет.

– Я так и думал... А портр-рет они вам подпортили!

– Чепуха, – проговорил Иван и почувствовал, что губы у него распухли.

– Давайте знакомиться, – капитан протянул ему руку. – Алексей Михайлович. Фамилия – Железнов.

Иван тоже представился по имени-отчеству.

– Женаты? – спросил Железнов.

– Женат.

– К жене в таком виде нельзя. К жене надо приходиться кр-расиво!

Сперва Иван посчитал, что его новый знакомый нажимает на букву «р», когда отдает команды. Но, видно, такая у него была манера разговора.

– Предлагаю пойти ко мне, – сказал он. – Временно холостякую. В порядок себя приведете!

Железнов подошел к обезлюдевшему достархану. Брезгливо оглядел закусь. Поднял цельную поллитровку, протянул Ивану.

– Компенсация за ущерб.

Иван сунул бутылку в карман.

– Пошли? – полуспросил Железнов.

– А патрули?

– Не было патрулей. Психологическая обработка пр-ротивника.

На КПП Железнов сказал дежурному: «Со мной», и тот разрешающе козырнул. В квартире их встретил детский плач. В коридоре на горшке сидел ребяенок и ритмично всхлипывал. Увидев вошедших, заревел целенаправленнее.

– С соседями живем, – объяснил Железнов, – тоже командир роты с семьей. Сам на точке вторую неделю, а жена, – кивнул на свет в ванном оконце, – постирушку затеяла... Чего хнычешь, Гор-рюха? – обратился к малышу. – Гарнизонные парни не хнычут!

Гарнизонный парень послушно замолчал. Загремели тазы. В коридоре появилась распаренная чернобровая мамаша. Увидев постороннего, да еще заметно побитого, она ахнула, подхватила сына с горшка и исчезла в своей комнате.

Иван погляделся в мутное зеркало. Правильно ахнула чернобровая: губы, как пережаренные оладьи. Умылся холодной водой. Прошел в комнату. Она оказалась крохотной, метров четырнадцать – не больше. Раздвижной диван, детская кроватка, платяной шкаф, письменный стол и три казенных стула – вот и вся мебель, целиком занявшая жилую площадь. Малую стену закрывал стеллаж с книгами. В стеллажном проеме висел в рамке портрет, увидев который, Иван даже не поверил, настолько это оказалось для него неожиданным. Невзначай и в негаданном месте приблизилось давнее, нисколько им не забытое, связанное с появлением человека из прошлого.

... Постучал он в их каморку под вечер, мать еще не вернулась с работы.

– Мне нужна Вера Константиновна Панихидина, – сказал от дверей незнакомец, промаргиваясь и потирая озябшие руки. Одет он был для птичьей, а не бурной весны – в новый серый макинтош и шляпу.

– Матери нет, – ответил Иван. – Скоро придет.

– Могу я ее подождать?

– Проходите.

Но тот проходить не торопился. Обежал печальными глазами все углы, задержался взглядом на портрете Сталина в черной траурной рамке.

– Вместо иконы? Мать молится? – спросил гость, указывая на портрет.

Ивану не понравился вопрос.

– Она неверующая.

Тот понимающе кивнул.

– А ты, вероятно, Иван Трофимович?

Нет, явно неспроста появился этот человек в их доме, имя-отчество Ванькино знает. А откуда знает? И что ему у них надо?

– Отец или отчим у тебя есть? – спросил гость.

– Отец на фронте погиб, – ответил он хмуро.

– Н-да, – произнес тот. – Он у тебя был настоящим бойцом. Орденоносцем был. «Красное Знамя» имел.

У Ивана екнуло сердце.

– Вы знали моего отца?

– Знал. И очень близко. Ты очень на него похож, Ваня, – сказал тот. – Извини, я не представился. Кирюхин Степан Герасимович. Он все время вспоминал тебя и твою маму.

– Как он погиб?

– Как человек. Погиб в бамлаге при попытке убежать на фронт.

– Так он – что, сидел что ли?

– Мы вместе сидели.

Это было выше Иванова понимания. Сидят за бандитизм, за воровство. Тети Фросин брат сидел за дезертирство. А они-то с отцом, за что?

Наверное, все Ивановы мысли были написаны на его лице, потому что Степан Герасимович грустно покачал головой.

– Твой отец, Ваня, был честным, преданным Родине большевиком... Ты про двадцатый партийный съезд слышал?..

Что-то такое, не очень ясное, Иван слышал: «Втерся сволочь Берия к Сталину в доверие...»

Ивана не особо интересовали те дела. Но причем тут отец?

– Он был несправедливо репрессирован, Ваня. Съезд вернул ему доброе имя. А тебе должны вернуть на хранение его орден. Он получил его за финскую кампанию.

– За что же его посадили?

Степан Герасимович вновь грустно покачал головой.

– Знаешь, что такое орденосец перед большой войной? Их было очень мало. И все на виду. А бывший младший политрук Потерушин-Сверяба был единственным в районе.

– Кто был? – не понял Иван.

– Твой отец. У него была такая странная двойная фамилия: Потерушин-Сверяба. А ты носишь материну фамилию. Может быть, это и разумно по отношению к тебе... Так вот, Ваня, однажды твоего отца пригласили выступить к красноармейцам...

Настороженность покинула Ивана. Он впитывал слова отца друга с жадностью и ощущением зыбкости происходящего. Отец оставался для него по-прежнему нереальным, но реально было то, что он воевал и был награжден, как многие другие отцы... А Степан Герасимович рассказывал:

– На той встрече кто-то задал твоему отцу вопрос: «Что вам больше всего запомнилось из войны?» Он ответил: «Морозы и мерзлый хлеб. А в старой русской армии в пайке всегда были сухари». И добавил: «У нас потерь было больше, чем у белофиннов»... Наутро его забрали.

– Не может быть, чтобы только за это! – воскликнул Иван.

– Может, Ваня. Но разговор этот долгий. Давай сначала уберем ту икону? – кивнул на портрет Сталина.

– Нет, – торопливо возразил Иван.

– Хорошо. Дождемся мать...

Иван никогда не видел в такой растерянности мать, обычно уверенную в себе и категоричную. Она слушала Степана Герасимовича, опустив голову, только руки ее находились в беспокойном движении.

– Вера Константиновна, – сказал Степан Герасимович, – в память Трофима – снимите, – показал на портрет Сталина.

Мать неуверенно качнула головой.

– Не могу, – помолчала, спросила: – Что же теперь будет?

– Будет лучше, чем было, – ответил Степан Герасимович. – Если, конечно, дела не уйдут в лозунги. Всякая власть, Вера Константиновна, обманывает народ с помощью лозунгов.

Мать испуганно оглянулась на Ивана, тот равнодушно отвернулся.

– Вам выдадут документ о реабилитации, – сказал Степан Герасимович, – и денежную компенсацию.

Мать слабо отмахнулась: какая уж тут, мол, компенсация, лишь бы самих не тронули.

Гость закашлялся. Кашлял с натугой, прикрываясь белым носовым платком. Кинул взгляд на темное узкое окно, в которое бился крупяной весенний ветер.

- Поздно уже. Пора.
- Где вы остановились? – спросила мать.
- Попрошусь в гостиницу.
- Чего ж в гостиницу? Оставайтесь у нас. Я вам на полу постелю.
- А не стесню?

Он остался. Места на полу как раз хватило на одну постель. Иван улегся на свой сундук, удлиненный двумя табуретками. Мать и Степан Герасимович все сидели, пили остывший чай, вели негромкий разговор. Она спросила:

- А вас-то – за что?
- За троцкизм.

Иван сначала не понял, а уразумев, даже скукожился на своей сундучной постели: живой троцкист! Как же его могли освободить-то? С отцом – понятно: ошибка. А троцкизм разве может быть ошибкой? Мать видно тоже с трудом переваривала услышанное. Заикнулась о чем-то, но смолчала.

– Троцкий, Вера Константиновна, во многом был прав. Хотя позёр и безгранично властолюбив.

- Сколько же вам тогда было?
- Двадцать.
- Значит, и семьей не успели обзавестись?
- Не успел.
- Куда же вы теперь?
- Завтра пойду в обком партии...

Утром Иван проснулся с чувством, что началась новая жизнь. Степан Герасимович уже ушел. Мать глядела в окно.

- Мам, – спросил Иван, – а отцовой фотокарточки не сохранилось?

Она полезла в сундук, в котором хранила всякое старье. Достала с самого дна ридикюль, вытащила маленькую фотокарточку с оторванным верхним уголком. Протянула Ивану.

С фотографии глядел чернокудрый молодец, в белой рубашке, подпоясанной тонким ремешком.

- Фамилия у тебя тогда была Потерушина-Сверяба?
- Была, Ваня.
- Почему же ты ее сменила?
- Нельзя иначе было. Да и поверила я, что он – враг.
- Как же поверила-то? У него же орден за финскую войну был!
- Я беременна тобой была, Ваня. Секретарь райкома вызвал меня и сказал: «Пиши заявление, что отрекаешься».
- И ты написала?
- Уж не осуждаешь ли ты меня, сын?

Иван осуждал, но вслух этого не сказал.

Мать достала из сундука большой конверт. Извлекла из него наклеенную на картон фотографию человека с могучим лбом и бородой по грудь.

- Это князь Кропоткин, – сказала.
- Вижу, что не Карл Маркс, – буркнул Иван.
- Твой дед твоему отцу завещал. Как семейную реликвию.
- Он что, князь-то, родственник нам что ли?
- Нет. Твой прадед был у него проводником в забайкальской экспедиции...

Из тонкой багетной рамки в квартире Железнова глядел на комнатный мир мыслитель. Точно такой же портрет лежал в сундуке у матери...

Со сковородкой в комнату вошел Железнов, глянул на стоявшего перед портретом Ивана.

– Знакомая личность?

– Знакомая.

Письменный стол быстренько превратился в гостевальный.

– С какого боку, если не секрет, вы интересуетесь Петром Алексеевичем Кропоткиным? – спросил Железнов, когда выпили по первой.

– Прадед мой был с ним в экспедиции.

– Очень даже интересно! В первой, второй?

Откуда было знать Ивану, в первой или второй?.. Единственное, что он когда-то вычитал, так это то, что Кропоткин-анархист. Почувствовал невольную вину за свое незнание, он вдруг рассказал незнакомому человеку то, что не пожелал открыть даже жене, когда она любопытствовала насчет его родителей. Капитан Железнов слушал Ивана, не перебивая. А когда тот кончил свою неожиданную исповедь, произнес:

– Вины матери тут нет. Жизнь виновата. Документ о р-реабилитации вам прислали?

– Степан Герасимович выхлопотал.

– А орден?

– Пропал.

– Носит какой-нибудь мер-рзавец... Ну, а что касается князя...

Он снял со стеллажа три тонкие книжицы. В одной описывалась Сунгарийская экспедиция Кропоткина, в другой – Витимская. Третья представляла собой его доклад русскому географическому обществу.

– Не зачитайте, – предостерег. – Не выношу пир-ратов книжных полок.

Трофейная бутылка пригодилась. Она и разговору придавала настрой. Железнов поинтересовался:

– Где сейчас трудитесь?

– На стройке. Механиком землеройной техники.

– Серьезная специальность! А мы без толкового механика загибаемся.

– Я – толковый, – без лишней скромности сказал Иван.

– Так давайте к нам! Механик в батальоне механизации – самый уважаемый человек.

У комбата военком в приятелях ходит, в момент оформит на младшего лейтенанта.

Иван несогласно покачал головой.

– У меня, Алексей Михайлович, натура не подходит для субординации.

– Субординация нужна в пехоте. А наши войска – трудармия.

Железнов прервался, потому что в дверь вежливо постучали. В комнату вплыла намаки-яженная, при золотых висюльках чернобровая соседка.

– Я вам пирожков принесла.

Железнов принял от нее блюдо.

– За пирожки спасибо, а к мужикам, Наталья, не приставай. Скоро твой на тр-рое суток приедет, ему и шевели бровями.

– Какие глупости! – соседка фыркнула и ушла.

– Между прочим, – сказал Железнов, – где-то в верхах крутится проект магистрали века. Ваш отец, говорите, в бамлаге погиб?.. Так вот, магистраль века – это БАМ. В тех местах и ходил с экспедицией офицер Кропоткин.

А время текло в черноту ночи. Неохота было уходить, но пора приспела. Железнов сказал на прощанье:

– Моя рота стрелочные пути расширяет для вашего комбината. Так что я на месте. Милости пр-рошу в любой день...

Степан Герасимович не совсем исчез в то апрельское утро, хотя и надолго. Его уж и вспоминать забыли, когда он снова появился перед ноябрьскими праздниками. С той же виновато-грустной улыбкой.

– Вызывали в Москву, – объяснил. – Работал в комиссии по реабилитации.

– Ну, и как? – спросила мать.

– Стена еще стоит. Чуть приоткрыли калитку – и по одному, через часового... Вот ваш документ, Вера Константиновна, о реабилитации.

– Спасибо.

Иван сказал:

– Я паспорт через месяц получаю. Возьму отцову фамилию...

Однако со сменой фамилии оказалось не так все просто. Одних справок понадобилось девять штук. А когда уже все бумаги были собраны, начальница над паспортами, напомнившая Ивану материну подругу Октябрину, объявила:

– Двойную фамилию не положено.

– Почему? – не понял он.

– Потому что это из прошлого, молодой человек. Салтыков-Щедрин, хоть и прогрессивный писатель, но из помещиков. Минин-Пожарский из князей...

– Минин – староста, – возразил Иван.

– Правильно. Новгородским старостой мог в то время стать только дворянин... Прошу не перебивать, Панихин! Выбирай: или Потерушин, или Сверяба!

Ему надоела канитель со справками и очередями. Потому сказал хмуро:

– Пишите: Сверяба.

Вечером к ним пришел Степан Герасимович. Он уже работал в исполкоме, снял где-то комнату, ждал квартиру. Выслушав Ивана, грустно улыбнулся.

– Это культ должности, Ваня. Всю эту муть смоем, не сразу, а смоем... Поздравляю тебя, Иван Сверяба! И вот – тебе.

В свертке, который он протянул Ивану, оказался серый в светлую полоску костюм. Первый в Ванькиной жизни костюм!

Молодой Сверяба старался скрыть свою радость, но улыбка так и лезла на лицо. В костюме он выглядел взрослее, не то, что в сшитой матерью куртке, из которой торчали его несоразмерно крупные кистевые мослы. Обновка словно бы зафиксировала Иванову взрослость и самостоятельность. В том костюме он и на сцену с гитарой не постеснялся выйти, и на манеже цирка чувствовал себя любимцем публики. В нем же он совершил под конвоем печальное путешествие в красное тюремное здание под названием «Вечный зов». А когда вышел оттуда старанием папы Каряги и явился домой, узнал, что и мать распрощалась со своей прежней фамилией – стала Кирюхиной.

Иван и в армию подался всего скорее из-за того, что вдруг ощутил себя лишним в новой материной жизни. Дружеские отношения с отчимом казались ему предательством памяти отца, которого и так много предавали. Мать – ладно, женщина – тяжело одной век коротать. Но теперь вроде бы предавал уже он, единственный на земле отцов наследник.

Через год, когда Иван осваивал в Карелии первую ударную стройку, Степан Герасимович помер. Как ни торопился на похороны Иван Сверяба – не успел. Закопали страдальца Кирюхина в полдень, а Иван прилетел вечером. Побыли вместе с матерью на могиле, утонувшей в райкомовских и ветеранских цветах. Мать сказала:

– Сначала угробили, а теперь цветами перед мертвым откупаются...

Погруженный в прошлое, Иван и не заметил, как дошел до Сиреновой улицы. Свет горел только в их комнате. Значит, Томка не спала, значит, ждала, значит, придется объясняться. Она и дверь открыла сама.

– Обнаглел, да? В гулянки ударился, да?

Иван, не говоря ни слова, прошел в комнату.

– Где шлялся, паразит?

– Тише! Дочь разбудишь.

– О дочери вспомнил? А когда шлялся, не помнил? Да еще и с поcariaбанными губами домой явился!

– С твоим усатиком и его дружками встретился. Капитан из гарнизона помог с ними справиться.

Томка осеклась. Лицо жалобно искривилось, казалось, вот-вот заплачет. Подняла на Ивана свои серые оресниченные глаза, сказала тоненьким голосом:

– Извелась я, Вань, тебя ожидаючи.

Эти человеческие слова тут же нашли отклик в Ивановом сердце. Ему стало жалко жену. Сел рядом с ней, даже потянулся обнять, но сдержал себя.

– Потом в гарнизоне был. Капитан пригласил.

Она удивленно заморгала.

– А чего так задержался-то?

– Серьезный разговор получился.

– Он что, холостой тот капитан?

– Женатый.

– О чем же у вас серьезный разговор был?

– О князе Кропоткине.

– О ком, о ком?

Иван повторил.

– Чего он вам сдался?

– Офицером был.

– Ну, и что?

– Меня тоже сватали в офицеры.

Жена несколько секунд лежала молча. Затем повернулась к нему.

– Как это – сватали в офицеры?

– А так. Через военкомат предложили призвать.

– Ну, а ты?

– Отказался.

– Да ты что, Вань! С ума сошел что ли? Офицеры знаешь, сколь зарабатывают? И квартиры им с удобствами дают, и одевают задарма.

– Спи! – сказал неприязненно.

– О жизни надо думать, Вань. Двое же у нас скоро будут. А ты все, как холостяк: ничего тебе не надо. Детям надо! И кормить их, и одевать, и учить.

– Хватит!

– Ладно, Вань, ладно. Не буду. Потом поговорим.

Она еще долго ворочалась, вздыхала. Иван так и не дождался, когда жена засопит в предвещии глубокого сна. Сам уснул и проспал ночь, как застреленный.

Ах, жены, жены! Мужья только думают, что они вершат семейные дела. А на самом деле их вершат жены. Не мытьем, так катаньем, где не додолбят, там кошачьим мурлыканьем возьмут. Через неделю Иван уже ничего необычного не видел в возможном повороте своей судьбы. Он и Железнову признался в том, когда принес ему прочитанные с пристрастием книги.

– Я пр-редполагал такой вариант, – сказал тот. – Комбат навел о вас справки. Вы на самом деле толковый механик...

Приказ о присвоении ему звания младшего лейтенанта пришел, когда уже родился сын. Иван настаивал дать ему имя Трофим. Но жена яро воспротивилась: деревенское де имя, сейчас никто так не называет! И записала сына Эдуардом.

3.

После того, как присвоили Ивану Сверябе самое малое офицерское звание, перебрался он с семьей в военный городок. Прав Железнов оказался: службой, в уставном понимании, Ивану не докучали, лишь бы механизмы исправно работали. А они работали, несмотря на нехватку запчастей. Тут Ивану помогли прежние приятели по автобазе.

Стройка коммунизма снабжалась хорошо; чего-то верхние снабженцы и не додавали – не без того, но некоторых запчастей скопилось на складах с избытком. За бутылку казенного спирта, а его у военных гэсэмщиков стояла целая цистерна, можно было выменять любую деталь. Комбат, строго бдивший за тем, чтобы это казенное добро не перекачивалось в желудки подчиненных, на святое землеройное дело спирту не жалел. И чуть ли не молился на трудягу-механика, видя, как оживают самосвалы-покойнички, как однажды даже приполз в карьер пятисотсильный бульдозер, ржавевший до того в ожидании срока списания. Не было праздника, к которому командир не оделил бы Сверябу приличной премией.

Премияльные Иван от Томки заначивал, потому что выпросить у нее пятерку – лучше не просить. Лишь один раз она добровольно уделила ему от семейного бюджета полсотни. На его погонах тогда почти день в день по срокам появилась вторая звездочка. И третью он тоже получил без задержки.

Вскоре после этого новоиспеченному старшему лейтенанту было поручено задание особой важности. В неурочное время его пригласил в свой кабинет-клетушку майор Железнов, ставший к тому времени главным инженером.

– Придется вам пр-рокатиться в Алма-Ату, Иван Трофимович. Есть шанс разжиться авторезиной. Маленький шанс. Но р-рискнуть стоит. По слухам, Колбёшкин целый эшелон заполучил.

Начальника управления Колбешкина прозывали Большим Резинщиком. Не столько потому, что он распоряжался дефицитной колесной резиной, сколько за умение «резинить» просителей...

Приемная Резинщика оказалась пустой, и Иван без стука влез прямо в кабинет. За столом сидел в скучном одиночестве полковник с водянистыми глазами и с заметной сквозь реденькую волосяную маскировку плешью.

– Слушаю вас, – сказал он тонким, не вязавшимся с грузной фигурой, голосом.

Иван достал из портфеля заявочные документы, положил перед ним и со значением объяснил, что они обеспечивают фирму Курчатова.

– Понимаю, понимаю, – закивал тот головой. – Но резины нет.

– Есть! – наугад возразил Иван. – На днях эшелон разгрузили.

– Тот эшелон – по спецназначению.

– Мы – тоже спец. Выполняем правительственный заказ. Меня направил к вам генерал Гордиенко, – Иван попер наобум, смутно припоминая, что вроде бы есть такой генерал на полигоне. – Половина самосвалов у нас разута. Когда комиссия приедет разбираться, то станет искать за срыв задания крайнего. Объясним, что нас не обеспечили, и копии заявок за все годы представим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.